

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 43—44 1949



Ф. ВИГДОРОВА

ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

Ф. ВИГДОРОВА

ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва — 1949

Ф. ВИГДОРОВА

Фрида Абрамовна Вигдорова родилась в 1915 году в г. Орша (Белоруссия) в семье учителя. Окончив среднюю школу и педагогический техникум в Москве, учительствовала в Магнитогорске, а по окончании Московского педагогического института имени Ленина преподавала в старших классах 610-й московской школы русский язык и литературу. С 1938 года стала совмещать преподавательскую работу с журналистской. Работала в «Правде», а затем в «Комсомольской правде», писала статьи и очерки об учителях, детях, городской и сельской школе.

В 1948 году вышла книга «12 отважных», написанная Ф. Вигдоровой вместе с Т. Печерниковой. Материалом для этой книжки послужила деятельность подпольной пионерской организации села Покровского во время Великой Отечественной войны.

В 1949 году в альманахе «Год XXXII» напечатана повесть «4-й класс В», посвященная первым шагам молодой советской учительницы. В настоящем выпуске «Библиотеки «Огонек» печатаются главы из этой повести.

Коля Савенков

— Пойдемте,— сказал заведующий учебной частью Анатолий Дмитриевич Виноградов.— Сейчас я познакомлю вас с детьми.

— Можно, я сама?

Он смотрит на меня внимательно:

— Не полагается... Ну, хорошо, идите. И не волнуйтесь, пожалуйста.

И вот я открываю дверь и вхожу в класс. Я вижу распахнутое настежь окно, яркое голубое небо за ним и красную крышу дома напротив, но не различаю ни стен класса, ни лиц учеников. Кое кто из ребят встает, другие продолжают сидеть. Я молча стою у стола и жду. Постепенно, не спеша, с грохотом и стуком поднимаются и остальные.

— Здравствуйте! Садитесь! — говорю я неестественно громко и не узнаю своего голоса.

В горле у меня пересохло, в ушах шумит. Так же громко, словно мне предстоит перекричать целую толпу, я продолжаю дальше. Я сообщаю, как меня зовут и чем мы будем заниматься.

Сначала меня слушают, потом перестают. Я вижу, как на последней парте перешептываются двое ребят, а мальчики, сидящие слева, даже и голоса не понижают: их вовсе не заботит, слышу ли я их беседу.

— Пожалуйста, тише,— прошу я.

Они взглядывают на меня внимательно и даже удивленно, умолкают... ровно на секунду — и вот уже снова разговаривают. Один из них черноглазый, большелобый, с живым смышленным лицом. Другой светловолосый, худенький; воротничок голубой рубашки свободно болтается вокруг его длинной, тонкой шеи; глаза смотрят пристально и насмешливо.

Я беру в руки хрестоматию и начинаю читать совсем тихо. Это рассказ «Мужик и барин». Шум продолжается. Но вот си-

дящие поближе уловили в рассказе какое-то смешное место, заулыбались и стали прислушиваться к чтению.

— Потихе, вы, не мешайте слушать! — ворчит кто-то.

Я делаю вид, будто ничего не заметила, и продолжаю читать. Понемногу становится все тише, только в веселых местах вспыхивает дружный смех.

Я кончила. У ребят оживленные, улыбающиеся лица; они вполне оценили юмористический конец рассказа и смотрят на меня выжидательно: что будет дальше?

...Я совершила немало ошибок на этом своем первом уроке: я не сделала переключки, не произнесла никакого вступительного слова. Я не выполнила многого из того, что наметила, когда шла на урок. Но эти первые сорок пять минут научили меня простому и необходимому правилу, которого я не слышала в институте — ни на лекциях, ни от преподавателя методики: если хочешь, чтобы тебя слушали, не кричи.

И еще много простых, несложных истин усвоила я в эти дни, уже далекие, но такие памятные, словно все это было вчера.

Первый же диктант показал: все ребята изрядно безграмотны, много времени придется потратить на штопку старых прорех. И на ближайшем уроке грамматики стали мы разбирать ошибки этого первого диктанта.

— Почему ты написал «мидведь»? — допытывалась я у Вани Выручки.

Он молчал.

— Скажи, что называется корнем слова?

На этот мой вопрос Ваня ответил бойко, отчетливо.

— Ну, теперь подумай: какой корень в слове «медведь»? — продолжала я.

— Мед и вед! — с каким-то забавным и радостным удивлением воскликнул со своего места Толя Горюнов.

И хотя это было совсем не по правилам (он должен был поднять руку и ответить только после того, как я разрешу), у меня нехватило духу сделать ему замечание, — так заулыбались ребята простому толиному открытию: всем показалось очень занятным, что в слове названо уменьье Мишки ведать мед.

Я придралась к случаю и прочла ребятам маленькую «лекцию».

— Некоторые из вас думают так: грамматические правила сами по себе, а грамотность сама по себе, одно другого не касается; можно писать правильно и не зная правил. Но это

неверно. Конечно, если просто заучить правило, как заучил Ваня, толку не будет. Но если учить правила осмысленно и помнить о них, когда пишешь,— тогда другое дело. Не напишет «пирчатка» тот, кто знает, что корень этого слова — перст, то есть палец.

— А наперсток? — снова воскликнул Толя. — Его тоже на палец надевают!

— И перстень тоже! — подхватил все еще стоявший у доски Ваня.

— Вот, вот! Смотрите, как интересно знать происхождение слова, его скрытый смысл! Каждый из вас, конечно, давно сообразил, что подушка — это вещь, которую кладут под ухо. А какие еще слова с этим корнем вы мне назовете?

— Ушат!

— Наушник!

— Ушанка!

А Толя снова удивил меня и ребят своей находчивостью, заявив с восторгом:

— Оплеуха!

— Это простой корень,— подтвердила я.— А кто догадается, от какого корня происходит непривычно, странно для нас звучащее слово «скопидом», то есть скупой человек?

После небольшой заминки несколько ребят отыскали разгадку: тут два корня — «копить» и «дом».

— Скупой, вот он и копит!

С этого дня мы не просто занимались грамматикой, мы открывали «тайны» обыкновенных слов, и это было очень увлекательно.

Постепенно я узнавала ребят. Из неразличимой сначала массы имен и фамилий стали проясняться одно за другим лица, список моих учеников оживал.

Входя в класс, я прежде всего смотрела на первую парту у окна — там сидели Саша Гай и Толя Горюнов. Они были неразлучными друзьями и учились — не подберу другого слова — с упоением. На их лицах я всегда могла прочесть отражение своих мыслей: они думали вместе со мной и так сильно переживали то, что я рассказывала, словно все это происходило с ними самими. Саша Гай был энергичный, решительный мальчуган. А Толю ребята называли «Тоней», так он походил на девочку. Невысокий, хрупкий и худенький, он быстро смущался и краснел, и одноклассники относились к нему снисходительно-покровительственно. Но мне казалось, — я не умею этого объяснить, — будто в этом мальчугане есть что-то, чего

мы еще не знаем. Его глаза, когда он задумывался, смотрели как-то очень серьезно и твердо.

Я уже знала порывистого «злюку» Боря Левина. Сердился он совсем по петушиному: краснел, весь взъерошивался, и даже его белые вихры как-то зазорно вставали дыбом. Он сердился и на неугодных ему персонажей книжки, и на дождь, который опять помешает после уроков гонять мяч во дворе, и на оборвавшийся шнурок башмака...

Я знала уже добродушного Алешу Рябинина и все старалась понять: что в нем подкупает ребят, почему они так охотно, беспрекословно слушаются его, такого молчаливого и незаметного?

По именам я знала всех своих учеников, хотя, конечно, еще не знала их по-настоящему. Дружба моя с классом крепла.

Однажды, когда мы прочитали «Ваньку» Чехова, произошел такой случай. Я принесла в класс аლოსкоп, и рассказ ожил перед глазами ребят. Вот скамья, на ней лист бумаги, рядом мальчуган на коленях. Другая картинка: дед Константин Михайлович, весь закутанный в широчайший тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в колотушку. Дальше — хозяйка бьет Ваньку по лицу сеledкой. И снова лес, молодые елки, окутанные инеем, и дедушка с Ванькой приехали срубить елку для праздника. И вдруг вспыхнула пленка аლოსкопа: видимо, лампочка была слишком близко от объектива. Я мигом выдернула штепсель, но пленка уже сгорела. Ребята были расстроены. На перемене они окружили меня и все в один голос кричали, что непременно надо досмотреть историю Ваньки Жукова.

— Второй такой пленки у меня нет, — объяснила я.

На другой день я неожиданно оказалась обладательницей десяти пленок с историей Ваньки Жукова. Выяснилось, что многие мальчики с утра отправились на поиски пленок, и было смешно, что каждый из них, входя в класс, торжественно объявлял:

— Марина Николаевна, у меня есть...

— ...пленка! — хором кричали остальные.

На переменах я редко уходила в учительскую; обычно становилась у окна в коридоре, ребята окружали меня, и мы разговаривали сразу о тысяче вещей. Работа моя как будто бы ладилась. И все же подчас я чувствовала себя скверно: многое не давалось. Главной причиной моего огорчения были братья Воробейко и Коля Савенков. Сначала расскажу о Коле.

Он мне сразу не понравился.

У него были маленькие, глубоко посаженные глаза и большие оттопыренные уши. Должно быть, от привычки высоко поднимать брови на лбу у него прорезались глубокие морщины. Ничего детского я не могла уловить в выражении этого угрюмого, неприветливого лица. Мне были неприятны и неизменно расстегнутый ворот серой, застиранной рубахи, и грязные руки, с вечным трауром под ногтями, и глухой и грубый голос, и взгляд исподлобья...

В первые дни он безучастно сидел на задней парте и, казалось, не обращал внимания на меня. А я время от времени поглядывала в его сторону и невольно настораживалась.

И вскоре между нами возникла открытая война.

— Нельзя приходить в школу с такими грязными ногтями! — сказала я однажды.

— Подумаешь, — буркнул он.

Я вспыхнула:

— Разве можно так разговаривать с учительницей?

— А чего? — сказал он равнодушно и отвернулся.

— Я не стану проверять твои тетради, — сказала я в другой раз. — Посмотри, какие они мятые, грязные, в руки взять — и то неприятно!

— Ну и не надо, — был ответ. — Не берите.

Я даже не могу сказать, что Савенков отвечал грубо, нет. В его тоне звучало презрительное равнодушие. Всем своим видом он словно говорил: «Не приставай ко мне, и больше мне от тебя ничего не надо».

В первое время Савенков даже не мешал на уроках. Чаще всего он просто смотрел в окно или строгал что-нибудь перочинным ножом. Но как-то во время урока он пустил бумажного голубя. Я рассердилась и резко отчитала его, но тут же увидела, что этим не поможешь. Савенков спокойно выслушал выговор, глядя мне в лицо холодными, изучающими глазами.

На другой день он во время урока вдруг встал и неторопливо прошел по классу. Я велела ему сесть. Он лениво, через плечо поглядел в мою сторону и так же неторопливо вернулся на место.

С тех пор не проходило дня без того, чтобы Савенков не досадил мне какой-нибудь выходкой. Ему как будто доставляло удовольствие, что я из-за него сержусь, волнуясь, прерываю урок. Во время перемен он, как одержимый, носился по коридору или начинал прыгать через парты, и дежурные никак не могли выгнать его из класса. На уроках, смотря по

настроению, он либо дремал либо пускал бумажных голубей. За весь сентябрь он не выполнил ни одного домашнего задания, ни разу не ответил как следует у доски. Чаще всего он и не выходил к доске, а когда я называла его фамилию, угрюмо и вызывающе заявлял со своего места, что уроков не готовил. И не раз, похвалив кого-нибудь из ребят за удачный ответ, за хорошо прочитанное стихотворение, я ловила на себе злой, враждебный взгляд Николая.

Ребята старались помочь мне: останавливали Савенкова, даже покрикивали на него, — но все было напрасно.

Помню, на лекциях по педагогике нам не раз говорили о том, что в подобных случаях прекрасно помогает один метод. Если ребенок ведет себя плохо, надо как можно скорее поручить ему какую-нибудь ответственную работу.

И вот я предложила ребятам выбрать Савенкова классным организатором. Их очень удивило это предложение, но Коля был избран. Скоро мы все убедились в том, что это не произвело на него ни малейшего впечатления.

— Ты составил список дежурств? — обращалась я к нему.

— Пускай Гай составляет: он самый аккуратный, — мстительно отвечал Николай.

— Сведи, пожалуйста, ребят в раздевалку, — говорила я.

— Сами сойдут, не маленькие.

В перемены, стоя с ребятами у окна, я не раз замечала, что Савенков прислушивается, точно хочет подойти и принять участие в нашем разговоре. Но, встретив мой взгляд, он тотчас делал независимое лицо и выкидывал какой-нибудь из своих обычных «номеров»: свистал, с гиканьем врзался в толпу ребят или начинал ломиться в класс, куда во время перемены входить не разрешалось.

Я не видела выхода, я не знала, как быть, и с тоской вспоминала педагогические статьи, в которых подобные истории излагались примерно так: Коля был очень плохой и непослушный мальчик; преподаватель поручил ему организовать, к примеру, кружок самодеятельности; Коля организовал кружок и с тех пор начал отлично учиться и деятельно помогать учителю в его работе...

Он попрежнему не слушал ни меня, ни кого-либо другого. Он не выполнил ни одного моего поручения и попрежнему не утруждал себя приготовлением уроков.

— Тебя, видимо, придется исключить из школы! — сказала я однажды.

— Ну и исключайте! — ответил он.

...Я вспоминала свои школьные годы, свою учительницу Анну Ивановну Тихомирову. Она вела наш класс с первого по седьмой. Мы попали к ней восьмилетними малышами, а простились в пятнадцать лет. Она была для нас самым лучшим человеком на свете, самым умным, справедливым и добрым. Мы слушались ее беспрекословно.

И теперь я пыталась понять: чем же взяла, чем завоевала нас Анна Ивановна? Что это было такое, неуловимое и покоряющее? Пойму ли я этот секрет, овладею ли им?

Мучительно доискиваясь, как же мне быть с Колей Савенковым, я вспомнила один когда-то поразивший меня случай.

Это было еще во время войны. В школе, где я проходила педагогическую практику, в четвертом классе учился один мальчуган. На переменах он, паясничая и кривляясь, выкрикивал «хайль» в подражание какому-то персонажу из фильма «Похождения бравого солдата Швейка». Остальных это ненавистное словечко раздражало, они просили мальчика перестать, но он никак не мог угомониться. Войдя в класс, преподавательница услышала это и сказала детям:

— Встаньте все, у кого отец, мать, сестра или брат находятся сейчас на фронте.

Встало десятка полтора ребят.

— Встаньте, у кого кто-нибудь из родных вернулся с фронта инвалидом.

Снова поднялось несколько человек.

— Встаньте те, у кого отец погиб на войне.

В глубокой, напряженной тишине встали три мальчика.

— Видишь,— сурово сказала учительница,— вот кого ты оскорблял своим нелепым выкриком. Ты обязан извиниться!

Мальчуган опустил голову.

И, вспоминая эту сцену, я подумала: какое тут нужно верное чутье, какая находчивость!

Ну что ж, вот и я с Савенковым пряма и резка, а к чему это приводит? Он с каждым днем ведет себя все хуже и хуже.

И такие это были для меня тяжелые дни, что иной раз и в школу идти не хотелось.

Я думала поговорить с Анатолием Дмитриевичем, но самолюбие не позволяло: что же, не успела начать, а уж бегу просить помощи? И я старалась не слишком часто попадаться ему на глаза, а встречаясь где-нибудь в школьных коридорах, поскорее проходила мимо.

Самое главное

— Знаете,— сказал как-то Анатолий Дмитриевич,— походите-ка вы на уроки к Наталье Андреевне. Она чудесный человек и очень талантливый педагог. И ведь опыт огромный,— шутка ли, сорок лет человек отдал школе! Поглядите, послушайте, вам будет интересно.

Как ни глупо это было, но... я не пошла. Сейчас даже понять этого не могу. Во мне говорило какое-то странное упрямство и желание сначала найти выход и найти непременно самой, чего бы мне это ни стоило.

Но однажды Наталья Андреевна сама подошла ко мне в учительской и сказала:

— Можно побывать у вас на уроке?

— Конечно,— ответила я.

Она пришла — и не раз, не два. Садилась на задней парте и слушала, смотрела. Правду сказать, я не очень люблю, когда на уроке у меня сидят посторонние. Это неуловимо, но ребята ведут себя как-то иначе: мы с ними уже не остаемся с глазу на глаз, и невольно, должно быть, они, как и я, чувствуют себя связанными присутствием чужого, стороннего человека. Но когда в класс приходила Наталья Андреевна, этого почти не было. От нее веяло такой доброжелательностью, таким спокоем. Она от души смеялась, если я или ребята шутили, внимательно слушала их ответы и одобительно кивала, если ответы были удачные. Мне она говорила:

— Хорошо, что вы ребят называете по именам.

Или:

— А вы замечаете, вон тот мальчуган все молчит и молчит, почему это он у вас такой неразговорчивый?

Однажды она попросила:

— Расскажите мне подробнее о своих ребятах.

Я рассказала ей о Горюнове, Левине, Гае. Рассказала и о Савенкове. Она слушала очень внимательно, то сдвигая густые, по-молодому темные брови, то сдержанно постукивая пальцами по краю парты,— и я видела: она живо принимает к сердцу мои волнения и огорчения. Потом она сказала:

— Приходите ко мне, я вам тоже о своих расскажу. Занятные есть мальчики.

Я стала бывать у Натальи Андреевны. Посидеть на ее уроке, послушать, как разговаривает она с ребятами, как охотно и толково они отвечают,— это было по-настоящему радостно.

Но еще интереснее, чем уроки, оказались рассказы Натальи

Андреевны о ее ребятах. И я заметила: с особенным оживлением и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших и примерных учениках, но о тех, с которыми трудно.

Один из ее ребят два года прожил в оккупированной местности. Однажды немец велел ему принести топор. Мальчуган испугался: «Зарубить!» — и лишился речи. И ноги у него отнялись. Выздоровел он не сразу и не до конца — остался зайкой. В первый класс поступил с двухлетним опозданием — ему уже минуло девять лет. На уроках он сидел молчаливый, безучастный, часто со слезами на глазах смотрел в окно, ожидая, когда за ним придет мать. Чувствовалось еще: он очень стесняется того, что он такой большой — не только старше, но и выше всех чуть ли не на голову.

Наталья Андреевна стала подчеркивать это как достоинство.

— Вот Витя у нас самый высокий, он и поможет повесить картину, — говорила она. — Витя, ты выше всех, помоги-ка мне достать книги с верхней полки.

Зная, что мальчик мучительно смущается, когда к нему неожиданно обращаются на уроке, она старалась предупредить его о том, что скоро спросит, — или просто взглядом или какой-нибудь случайной фразой.

— Напишем сейчас вот это предложение, а потом Витя расскажет нам...

И Витя успевал внутренне подготовиться к необходимости заговорить.

Ни одна витина удача не осталась незамеченной, ни одна буква, которую Витя сегодня написал красивее, чем вчера. Исподволь, шаг за шагом, мальчика заставили, наконец, поверить в свои силы.

Теперь Витя учится в четвертом классе. Наталья Андреевна дала мне прочесть его характеристику (она ведет дневник, подробные записи о каждом из своих ребят), и я смогла узнать все, что произошло с ним за эти четыре года. Он постепенно выровнялся, подружился с учительницей, но от товарищей все еще держался в стороне.

Теперь надо было как-то поднять его в глазах класса. Нашелся повод и для этого. Витя удачно нарисовал в тетрадке зимний лес и испуганного, скачущего во всю прыть зайца. Наталья Андреевна велела ему перерисовать все это на отдельный большой лист. Картину повесили на доске, и всем классом придумывали к ней рассказ.

— Это Витя хорошо нарисовал, выразительно. Посмотрите, какие у зайца испуганные глаза, как он прижал уши! Мы уже

давно не рассказывали по такой хорошей картинке,—говорила Наталья Андреевна.

И мальчики посмотрели на Витю с интересом, с уважением,— а человек становится сильнее, когда в него верят другие.

— Но вот если в Вите надо было поддержать каждую едва заметную попытку расправиться, поднять голову, оглядеться, то с Валею пришлось поступить совсем по-иному,—продолжала Наталья Андреевна.—Этот мальчуган пришел в школу с твердым убеждением: «Я самый лучший, я самый умный. Все, что я делаю, хорошо». Конечно, это единственный сын. У меня в классе семнадцать единственных—прямо беда! Тут уж, знаете, корень зла не в самом Вале, а в वालीной маме: это она убеждена в превосходстве своего сына над всеми остальными детьми. Я стараюсь приглашать таких родителей в школу: пусть побывают на уроках и убеждают, что их ребенок не лучше и не хуже других, что некоторые читают более бегло, лучше считают в уме.

— А с Валею самим вы что делаете?

— С Валею? Я его не одергиваю, не твержу все время: «Не зазнавайся, не заносись»,—но встать над одноклассниками ему мешаю. Вот он насорил и хочет, чтобы за ним убрал товарищ,— но нет, пусть убирает сам. Вот он решил задачу раньше всех и победоносно оглядывается. А я говорю ему: «Что ж это ты, задачу решил, а поля где? И почему так небрежно написал—клякса на кляксе, и тетрадка у тебя помятая, неопрятная...» Знаете, с ним бывает еще труднее, чем с Витей. Такой неровный, заносчивый характер! И надо выправить во-время, а то ведь все эти колючки и углы отвердеют, оформятся окончательно—вырастет человек плохим товарищем, плохим работником... У вас в лекциях по педагогике это, наверное, называлось трудным случаем.

— Вот именно,—со вздохом ответила я.

— Ну, а те, кто учится хорошо, «благополучные» дети, успевающие ученики? Вы думаете, с ними не трудно? Вот, к примеру, у Саши и Мити в тетрадках одно и то же—пятерки. Табелки одинаковые. А ребята разные. Сашин сосед опрокинул чернильницу, залил парту, Саша заставил его все вытереть и вымыть, а учительнице ничего не сказал. А Митя—тот поминутно руку тянет: «Наталья Андреевна! Коля измазал мою тетрадку! Наталья Андреевна, Коля просил у вас учебник, а у него свой!» А я его спокойно спрашиваю: «Разве ты Коля? Коля мне все сам скажет, если захочет».

Мы сидели с Натальей Андреевной в ее пустом классе. Было уже темно, а мы все не зажигали огня. Дождь стучался в окна, и мне, хоть я и слушала ее с глубоким вниманием, было очень грустно. Я слышала и понимала все, что говорила Наталья Андреевна, и в то же время никак не могла решить самого главного, о чем непрестанно думала.

«А как же мне быть с Колей Савенковым? Вот она умная, талантливая,—думала я,—она всегда находит верный путь, для нее все просто. А я ничего не могу придумать, и ничего у меня не получится».

— Но что же, что же самое главное в нашей работе?—спросила я тихо.—Я понимаю, готовых рецептов нет, всякий раз нужно поступать по-разному. Но неужели же нет чего-то главного, что поможет даже в самом трудном, запутанном случае?

— Самое главное?—задумчиво повторила Наталья Андреевна.—Вот я вам расскажу такой случай. Работала у нас молоденькая учительница. Побывала я у нее на уроках—как будто недурно, уроки по всем правилам методики. Спрашиваю: «Хорошие у вас ребята?» «Хорошие»,—отвечает. «Скажите, вон тот, на первой парте, что он собой представляет?» «Прекрасный мальчик. У него одни пятерки. Очень развитой и смысленный». «А тот, черноглазый, в голубой рубашке?» «Это средний ученик, троечник. Но дисциплинированный». «А вон тот, курносый с веснушками?» «У этого вообще четверки, но по арифметике ниже пяти не бывает».

И понимаете,—продолжала Наталья Андреевна,—вдруг все эти ребята стали на одно лицо, и уже только одно отличало их: четверочник, троечник, двоечник, отличник... Разве можно охарактеризовать школьника одними отметками? Как будто отметка может исчерпать человека, будь он даже только восьмилет от роду?!

Вот это я ей и сказала. А она мне так спокойно: «У меня их сорок, не могу же я знать каждого в отдельности». Но как же работать с детьми, если не знать их? Как учить их даже орфографии или таблице умножения? Сорок ребят—это сорок разных характеров. Не знать детей—это значит обречь себя на работу вслепую, без малейшей надежды на успех.

Она помолчала, потом заговорила спокойнее:

— Вы говорили, что ваш Николай—очень испорченный мальчуган. И верно, в нем много неприятного: угрюм, резок, любит делать назло. А все-таки приглядитесь к нему внимательнее, наблюдайте еще и еще. Да вы дома-то у него были?

— Нет.

— Что вы! Непременно надо побывать.

— Я знаю, что надо. Но понимаете, Наталья Андреевна, у меня к нему очень неприязненное чувство. Ко всему еще он трус: при Анатолии Дмитриевиче, например, ведет себя смиренно, а только тот за дверь—он опять начинает изводить и весь класс и меня.

— Да, это тяжело, конечно,—медленно проговорила Наталья Андреевна.—Но я уверена, в конце концов вы к нему подберете ключик. Знаете, вот уже сорок лет я в школе и не припомню такого случая, чтобы ничего, совсем ничего нельзя было сделать. Вот вы спрашиваете, что самое главное. Для воспитателя самое главное, самое важное—понять ученика, раскрыть, подстеречь ту минуту, тот иногда непредвиденный случай, который откроет тебе сокровенное, глубинное в этом человеке.

Однажды мне дали для учеников ордера на обувь и одежду. Надо было их распределить. Обычно мы с ребятами решали такие вопросы сообща: они лучше знали, кто в чем нуждается.

— У Савенкова башмаки совсем прохудились,—нерешительно сказал Саша Гай.

— Ну, Савенкову давать нельзя,—возразил Сережа Молчанов.—Да он и сам не просит: знает, что ему не дадут.

— А все-таки дать надо,—решила я, не имея при этом в виду никаких воспитательных целей: Савенков действительно ходил в совершенно рваных башмаках.

Когда он явился в школу (по обыкновению опоздав на целый урок), я отдала ему ордер. Он посмотрел на меня с таким глубоким, неподдельным изумлением, что мне стало не по себе. Ордер он взял. На другой день Коля пришел в новых кожаных башмаках. Во время перемены я заметила, что его нет в коридоре, и приотворила дверь класса. Николай стоял у окна, поставив ногу на батарею центрального отопления, и бережно вытирал ботинок носовым платком. Я тихо затворила дверь и медленно пошла в учительскую. Мне было глубоко, мучительно стыдно.

...Этот мальчишка раздражал меня, мешал мне. Я не любила его, и он это знал. Ведь, если вспомнить, он день ото дня вел себя все хуже, все откровеннее грубил. Не было ли это ответом на мою неприязнь? Что я знала о нем, кроме того, что он угрюм, неприветлив, что у него грязные тетради и неопрятные руки? Я сделала его старостой, но что же? Я просто поступила по готовому, известному мне из книжки рецеп-

ту, и шло это, как бы сказать... от ума, а не от сердца. Ведь Савенков—всего-навсего одиннадцатилетний мальчишка,—как же я допустила, чтобы у нас началась эта глухая взаимная вражда?

На другой день я пошла к Савенкову домой. Он увидел меня еще во дворе, но не подошел, не поздоровался, а только посмотрел угрюмо и подозрительно.

— Колька, к тебе учительница пришла, жаловаться будет!— услышала я за своей спиной.

Николай свистнул и с независимым видом умчался на улицу.

Я позвонила, и через минуту мне отворила дверь женщина лет тридцати пяти, с хмурым, усталым лицом:

— Вам кого?

— Я к Савенковым... из школы.

— Из школы?..— настороженно переспросила она.— Пожалуйста, проходите.

Я пошла за ней в конец едва освещенного коридора. В небольшой опрятной комнате за столом сидела девочка лет шести, неуловимо похожая на Николая: то же немного скуластое лицо, те же серые глаза, только взгляд не такой хмурый и губы совсем ребячьи. Когда я вошла, она встала и выжидательно посмотрела на мать.

— Вы кто же будете?—спросила та, тоже с ожиданием глядя на меня.—Учительница?

— Да, я учительница вашего Николая. А вы его мать?

— Нет, он мне пасынок. Мужа на войне убили, вот я и осталась одна с ними двоими.

Она сказала это просто, спокойно, как-то даже буднично, но я сразу почувствовала, что передо мною страшно усталый, подавленный горем человек.

— Что, верно, озорничает Николай?—спросила она.

— Да нет, я не потому,—ответила я.—Просто мне хотелось посмотреть, как он живет.

— Ну, если будет баловать, скажите: его дядя ремнем поучит. Такой у нас порядок, он уж и сам знает: вот в прошлый раз во дворе окно расколотил, так с ним дядя по-своему разговаривал. А дома он ничего, помощник. И за девочкой поглядит, и обед из столовой принесет, и дров наколет.

Пока мы разговаривали, сестренка Николая подошла ко мне и стала рядом, внимательно прислушиваясь и переводя пытливый взгляд с матери на меня.

— Как тебя зовут?—спросила я.

— Лида.

— Любит она Колю,— мягко сказала мать.— Они у меня дружно живут. Он с ней в парк гулять ходит, сказки ей читает. Мойдодыра какого-то...

Она помолчала минуту, потом сказала тише:

— Коля в отце души не чаял. Как пришла к нам похоронная, он на себя стал непохож—почернел, с лица спал. А раньше веселый был... Мы с ним про отца не говорим. А ей он рассказывает, какой папка был, да как ходил, да что говорил. Лида-то его совсем не помнит...

Женщина говорила негромким, ровным голосом. Слезы капались по ее щекам, она не утирала их, а может, и не замечала. Я поспешно отвела глаза. Она прибавила:

— Мы ведь отца ждали, совсем приготовились встречать... Убили-то его в день Победы, а похоронная пришла уже после войны...

Я знала: надо бы еще посидеть, порасспросить... Но поняла, что сейчас не смогу этого сделать. Еще раз заверив мачеху Савенкова, что приходила не с жалобой, я распрощалась и ушла.

У дверей на лестнице поджидал Николай. Он в упор, со злостью посмотрел на меня, и в этом взгляде я прочла: «Пожаловалась? Рада?» Он подождал, пока я спустилась на несколько ступенек, потом решительно повернулся, вошел в квартиру и сразу захлопнул за собой дверь.

Назавтра по дороге из дому я встретила с ним неподалеку от школы. Против своего обыкновения он шел медленно и, казалось, кого-то поджидал. Увидев меня, он приостановился, подождал, пока я поровняюсь с ним, и негромко сказал:

— Здравствуйте, Марина Николаевна...

— Здравствуй,—ответила я.

Мы вместе дошли до школы, молча поднялись наверх, в класс.

На уроке Николая не было слышно. Весь день я ходила с таким ощущением, словно случилось что-то очень важное и хорошее, хотя я и не могла бы точно определить, что именно.

На другой день, выходя из школы, я встретила Савенкова на улице: он прохаживался вдоль забора, засунув руки глубоко в карманы.

— Ты что тут делаешь?—невольно спросила я.

— Так...—ответил он неопределенно и зашагал рядом со мной.

Я сбоку поглядывала на него. Он, видно, о чем-то упорно думал—шевелил бровями, поджимал губы. Лицо его показало мне сегодня не таким угрюмым и неприятным.

— Вы Лиду видели?—вдруг спросил он.

— Сестру твою? Как же... Очень на тебя похожа.

— Лицом?

— Ну да. Характера ведь я не знаю, его за один раз не разглядишь.

— Какой у нее может быть характер?—возразил Николай.— Она еще маленькая.

Помолчали. И вдруг он сказал:

— До свиданья, Марина Николаевна,—и мигом свернул в проходной двор.

Я пошла дальше озадаченная. Очень уж странный получился у нас разговор, и еще более странно он оборвался. «Может быть, я что-нибудь не так сказала? Он, кажется, обиделся?»—подумала я.

С тех пор почти каждый день Николай поджидал меня у школьных ворот и шел со мною до конца нашего переулка. Разговор у нас почти всегда бывал односложный. Как-то за всю дорогу Николай произнес только несколько слов:

— Вот, все говорят: мачеха, мачеха... и в книгах тоже... А она не такая. Она никогда не обидит.

Понятно, он говорил о своей мачехе. Но не успела я и рта раскрыть, как Савенков с обычным «До свиданья, Марина Николаевна» исчез за углом.

Если с нами шел еще кто-нибудь из ребят—а это бывало чаще всего,—Николай не говорил ни слова, и по лицу его нельзя было понять, слушает он наши разговоры или думает о своем.

Однажды, когда мы с ним шагали вдвоем в какой-то особенно дождливый и хмурый день, он предложил:

— Дайте, я понесу тетради.

— Спасибо,—ответила я.—Только, пожалуйста, осторожно, чтобы не помялись.

Он бережно взял у меня толстый пакет.

— Марина Николаевна, а бывает так, что пришла похоронная, а человек жив?—в голосе Николая звучали и тоска и упрямая надежда.—Вот, мне рассказывали, приезжает к одной старушке человек с фронта и говорит: вашего сына убили, я своими глазами видел. Ну, она плачет, расспрашивает. Проходит месяц, сидит она вечером одна в квартире, вдруг—звонок.

Идет она открывать, спрашивает: «Кто там?»,— а ей из-за двери: «Мама, откройте!» И вовсе не убили се сына, а только ранили...

Николай замолчал и пристально, требовательно посмотрел на меня.

— Бывает,—ответила я не сразу.—Все бывает. Вот у меня погиб брат, я долго надеялась, что он вернется. Но прошло уже три года. Видно, на самом деле погиб.

Мы стояли уже у моего подъезда: в этот раз Савенков не простился со мной на обычном углу.

— Зайди ко мне,—предложила я.

Он сначала отступил, а потом, вдруг решившись, шагнул в дверь и, похлопывая ладонью по перилам, стал подыматься за мной по лестнице. Поворачивая ключ в замке, я заметила на его лице уже знакомое мне смущенное и сосредоточенное выражение.

— Раздевайся, садись,—говорила я через минуту; не глядя на Николая, разложила по местам портфель, тетради и, захватив полотенце и мыло, вышла на кухню умыться.

Когда я вернулась, Николай стоял у книжного шкафа.

— Книг-то сколько!—сказал он, проводя рукой по стеклу.

— Выбери себе какую-нибудь,—предложила я.

Николай быстро взглянул на меня, густо покраснел и снова отвернулся к шкафу.

— Зачем, что это вы...—услышала я удивленный, недоверчивый ответ.

— Возьми,—повторила я, открывая дверцу.—На память. Вот, видишь, «Каштанка» Чехова? Эту книгу мне подарила когда-то моя учительница Анна Ивановна, и я берегу ее до сих пор. Видишь, написано: «Марине на память о нашей крепкой дружбе за годы школьной жизни».

— Сколько же вам тогда было лет?

— Четырнадцать.

— Как же вы дружили? Разве с учительницами дружат?

— Очень дружили! И до сих пор дружим,—ответила я.—Ну выбирай, какая тебе нравится.

Николай неуверенно провел рукой по корешкам и, остановившись на одном из самых толстых, вытащил... «Сравнительное языкознание» Марра. Это была книга брата. Не сдержав улыбки, я сказала:

— Это, пожалуй, будет для тебя скучновато. Может, лучше вот эту?—и я протянула ему «Детство» Горького.

— Эту,—согласился Николай, краснея еще больше, сунул книжку в выцветшую противогазовую сумку и направился к двери.

— Погоди, куда ты!—я даже растерялась.

— Нет, я пойду. Спасибо, Марина Николаевна!—и не успела я ни удержать его, ни проститься толком, как он уже сбежал с лестницы, шагая через три ступеньки.

...На уроках он теперь сидел тихо, — кажется, я могла бы забыть о нем, если бы, объясняя что-нибудь, не встречала его напряженный, внимательный взгляд. Вскоре он принес мне свою домашнюю тетрадь, в которую переписал уроки за последнюю неделю. Почерк оставался плохим, что ни буква, то кривобокое чудовище, зато не было ни одной кляксы, а поля, напротив, были.

Обычно, кроме отметки, я писала в тетрадях несколько слов: «Чисто и аккуратно» или «Грязно», «Небрежно», «Не забывай о полях». Ребята, получив проверенную тетрадь, сейчас же смотрели, что написано в конце, причем тут все бралось в расчет: каким карандашом написано—синим или красным, крупными буквами или мелкими. Красный карандаш считался более лестным, синий—не так, зеленый или коричневый почему-то огорчали.

Под колиной работой я написала: «Чисто, но почерк плохой».

— Покажи, что у тебя?—сказал Гай.

— Не дам,—процедил Николай, проходя на свое место.

— Я видел!—вмешался Морозов.—Марина Николаевна написала: «Чисто». А только он все переписал в один раз—это не дело, так всякий сумеет. Надо каждый день писать как следует.

Николай уже сидел на своей парте, и вид у него был такой, точно не о нем речь. Только по быстрому взгляду, который он бросил на Морозова, я поняла, что он не пропустил ни слова.

После уроков я едва разняла их. Вот уж поистине когда у меня руки опустились! Кажется, только что все наладилось—и вот опять драка, опять все сначала!

Мне незачем было спрашивать, кто начал первым: Морозов никогда не участвовал ни в каких драках, и сейчас потасовку затеял, конечно, Савенков.

— За что ты его?

— А какое его дело, чего он суется, куда не просят!

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

— Вы написали в тетрадке: «Чисто». А он влез: «Это каждый умеет, надо каждый день чисто писать». Какое его дело?

— Он прав, уроки надо всегда готовить чисто. Но даже если бы ты рассердился за дело, неужели ты думаешь, что колотушки—такое уж хорошее объяснение?

— Так он иначе не поймет. Это для него самая хорошая наука,—убежденно ответил Савенков.

— А что бы ты оказал, если бы я стала так учить тебя?

Действие моих слов было самое неожиданное: Савенков поднял голову, посмотрел на меня и широко улынулся,—и от этого его лицо стало совсем мальчишеским, открытым и простым.

— Я больше не буду, Марина Николаевна,—сказал он.—Вот, честное слово, не буду!

Тетради его становились чище, и всякий раз он ревниво смотрел, что я написала в конце.

Хорошим классным организатором Коля не стал, мы выбрали другого. Но последняя парта в правом ряду больше не мешала мне на уроках.

— Савенкова-то вроде подменили!—воскликнул как-то Боря Левин.

Николай ткнул его кулаком в бок, насупилс и покраснел, словно Боря вменялся во что-то глубоко личное, что касалось только его одного. Борис никогда не оставался в долгу, но тут и он почувствовал, что сказал лишнее.

— Не лезь!—крикнул он только, не давая, однако, сдачи.

— Сам не лезь, куда не просят!—веско отозвался Николай.

Я помню: когда мы учились в вузе, знания по педагогике у нас не связывались с нашей будущей профессией. Это были какие-то замкнутые, несообщающиеся сосуды: педагогика как вузовская дисциплина—одно; педагогика как деятельность, как преподавательский труд—нечто совсем другое. Не раз бывало так, что студент, прекрасно справившийся с педагогической практикой, получал неудовлетворительную оценку на экзаменах по педагогике. И я помню девушку, о которой все в один голос говорили, что уроки она проводила плохо, с ребятами была груба, сварлива и недоброжелательна, а на экзаменах она блистала эрудицией, четкими формулировками и получила «отлично».

Непонятно мне и другое: курс педагогики читался у нас на втором году обучения, когда мы не проходили еще педагогической практики,—другими словами, мы слушали педагогику, еще не зная школы.

Конечно, я понимаю, что курс педагогики не может все предусмотреть, застраховать от всех ошибок: жизнь иной раз за-

гадывает такие сложные и неожиданные загадки, каких никто не может предвидеть. Но ведь курс педагогики должен развивать педагогическое мышление, чутье и такт. А вместо этого нам сообщали отвлеченные правила и формулы. Я до сих пор, например, помню, что «под теорией воспитания мы понимаем учение о содержании, организации и методах целенаправленного и руководимого воспитателем процесса формирования личности ребенка, проводимого как в школе, так и вне школы, как в процессе обучения, так и во внеучебное время...»

Я и сейчас не понимаю и тогда не могла понять: откуда берутся эти, мертвым грузом оседающие в памяти, сухие формулы? Ведь как чудесно, как понятно и проникновенно писал Ушинский, как просто говорил со своим читателем Макаренко, какие сердечные и умные слова находил Михаил Иванович Калинин! Когда я читаю его беседы с учителями, я вижу: прекрасна, захватывающе увлекательна педагогика—наука о воспитании юного человека, будущего гражданина коммунистического общества!

А ведь когда мы, студенты, читали учебники педагогики, мы думали только об одном: как бы выучить, сдать—и забыть, выкинуть из головы! Потому что это сухо, скучно, мертво, ничего не говорит ни уму, ни сердцу. Разве я не люблю свою работу? Даже сказать трудно, какая это радость, как много я узнала и поняла за это время. Но все равно, удача у меня или мне трудно и я мучаюсь, пытаюсь разобраться, найти верный выход,— ни разу еще все эти выученные формулы не помогли мне.

Можно ли представить себе студента-медика, не знающего имени Бурденко? Ученика театральной студии, не повидавшего лучших актеров столицы? А мы, студенты педагогического института, проучившись четыре года в Москве, не знали таких московских учителей, как та же Наталья Андреевна! Мы ни разу не побывали в 110-й и 610-й школах и не познакомились с тем, как работают такие замечательные директора, как Иван Кузьмич Новиков и Лидия Алексеевна Померанцева. Вуз не познакомил нас с теми людьми, которые всего убедительнее могли показать, что такое педагог и его работа, какая это чудесная наука и чудесный труд—педагогика.

Говоря честно, самый лучший, самый памятный курс педагогики преподали мне мои ученики. И если многому научил меня Коля Савенков, то Саша Воробейко заставил заново все передумать.

Братья Воробейко

Братья Воробейко, Саша и Вася, были близнецы. Саша появился на белый свет всего на час прежде Васи, но вел себя так, словно был старше по крайней мере лет на пять, и Вася слушался его во всем, не рассуждая. Внешне они совсем не походили друг на друга. Саша—высокий, с длинным лицом, узкими насмешливыми глазами; Вася—маленький, круглолицый, добродушный. Оба они были второгодники.

Мое более близкое знакомство с Сашей началось с того, что он стащил мою сумку и с такой молниеносной быстротой обменял ее на три пачки папирос, что никто и опомниться не успел. Это было еще в первые дни моей работы, и я, по совети говоря, просто побоялась «поднимать историю», потому что совершенно не знала, как быть и что надо в таких случаях предпринимать.

«Бог с ней, с сумкой,—подумала я.—Может, обойдется как-нибудь».

Но, конечно, ничего не обошлось. В классе часто пропадали варежки, цветные карандаши, ручки, перья.

Почти все ребята считали виновником пропаж Сашу Воробейко. Все настаивали на том, чтобы как-нибудь обыскать весь класс. Но я не могла себе представить, что стану рыться в портфелях ни в чем неповинных ребят.

И вот однажды, вежливо поздоровавшись, в наш класс вошел милиционер.

— Разрешите мне взять в отделение ученика Александра Воробейко: есть на него серьезная жалоба,—сказал он, протянув мне густо исписанный лист бумаги.

Я мельком взглянула, но от волнения ничего толком не разобрала: речь шла о каком-то грузовике с яблоками, который Саша вместе с приятелями сумел опустошить.

«Вот и выход,—мелькнуло у меня в голове,—возьмут его—и дело с концом».

Я посмотрела на Сашу. Он встал, рядом с ним вытянулся Вася. У братьев были побледневшие, испуганные лица. Неожиданно для себя, даже каким-то не своим голосом я сказала:

— Нет, это мой ученик, и я не могу его сейчас отпустить. Я сама зайду вечером к начальнику милиции. А сейчас Воробейко будет продолжать занятия.

Так же вежливо попрощавшись, милиционер оставил класс. Но ребята еще несколько минут не могли успокоиться, и я расслышала, как кто-то с упрёком сказал Саше:

— Вот Марина Николаевна за тебя заступилась.

И этот мальчишка, несомненно испуганный, сильно побледневший, все же нашел в себе силы ответить сквозь зубы:

— Очень нужно!

Я велела братьям сесть и продолжать урок.

Вечером я пошла в милицию.

— У них во дворе подобралась очень бойкая компания,— объяснили мне в детской комнате.— Но мы их приберем к рукам. Правда, ваш Воробейко попался в первый раз с полличным, но спускать все равно нельзя... Поручиться за него? А кто, вы за него поручитесь? (Тут меня оглядели внимательно и критически, словно взвешивая, надежный ли из меня выйдет поручитель.) Ну что ж, надо подумать. Только имейте в виду, что это не простая формальность.— сказали: «Поручусь»,—и дело с концом. В случае чего будете нести ответственность...

Познакомилась я и с отцом Воробейко. Это был грузный мужчина с обрюзгшим, недовольным лицом, обросшим рыжеватой щетиной. Он попытался убедить меня, что возиться с Сашей—дело безнадежное и нестоящее.

— Признаюсь вам откровенно, Марина Николаевна,— сказал он,—я давно махнул на него рукой.

На другой день после уроков я попросила Сашу остаться. Мы подождали, пока все ребята ушли, и я начала свой первый серьезный педагогический разговор. Собственно, настоящего разговора не было: собеседник упорно молчал.

— Ты не волнуйся насчет этой истории с грузовиком и яблоками. Я вчера была в милиции и поручилась за тебя. Но я хочу поговорить с тобой еще вот о чем. Ты ведь знаешь, в классе участились кражи. Это очень неприятно. Просто нельзя понять, кто виноват. (Саша искоса взглянул на меня быстрым и, кажется, чуть насмешливым взглядом.) Так вот, я хочу попросить тебя: возьми, пожалуйста, на себя заботу о шкафе. Ты же знаешь, там у нас хранятся тетради, книги наши. Вот тебе ключ, возьми и следи, чтоб все было в порядке.

Надо отдать Саше должное: он посмотрел на этот ключ, как на гремучую змею, он отбивался от чести, которую я ему навязывала, как только мог:

— Не знаю, не могу, да как же я буду отвечать, да что я могу сделать?..

Но ключ я ему вручила.

Почему я это сделала? Ведь я не вдруг решила, я обдумывала этот разговор накануне и ночью долго не могла заснуть. Мне казалось, я обращаюсь к лучшему, что есть в Саше.

Мне вспомнилась картина «Путевка в жизнь» — там руководитель колонии для беспризорных (его играл чудесный артист Баталов) вот так же вручил вору Мустафе деньги. Мне вспомнилось его суровое, взволнованное лицо, сдвинутые брови: вернется ли Мустафа или сбежит с деньгами? Вместе с ним ждет и волнуется зритель. И Мустафа возвращается: большое, неожиданное доверие что-то перевернуло в нем, сделало его другим человеком. Это была правда, этому нельзя было не верить. И ведь вот Макаренко действовал так же, об этом рассказано в «Педагогической поэме». Почему же у меня от разговора с Сашей нет радости, а только смутный осадок на душе, и самый разговор уже кажется фальшивым, не настоящим? Видно, нельзя просто подражать кому-то, а надо каждый раз самой думать, самой наново решать, как поступить.

Кражи в нашем классе прекратились, но легче мне не стало: братья Воробейко как были чужими в классе, так и остались чужими. И однажды Рябинин сказал:

— Марина Николаевна, Воробейко отдал мне ключ от шкафа. Говорит, тебе сподручнее следить за тетрадками, а я и в школе почти не бываю. Я ключ взял. Ничего?

— Ничего, — ответила я упавшим голосом.

...А жизнь шла своим чередом. Мы уже выпускали в классе газету под названием «Дружба» и литературный журнал. Один номер журнала мы посвятили краснодонцам, другой — Александру Матросову.

Кроме того в нашей жизни произошло еще одно важное событие: нам дали пионервожатого.

Комсомолец Лева Виленский был учеником девятого класса. Когда он, высокий, худой, в очках, пришел к нам, ребята не могли скрыть своего разочарования.

Он был очень тихий, этот Лева. Вежливый, корректный, но, к сожалению, на моих ребят эти качества не произвели большого впечатления.

— Маменькин сынок, — сказал Левин.

— Очкарик, — отрезал Молчанов.

— Вот у пятого «А» вожатый так вожатый! Лучший вратарь во всей школе! — подвел итог Лабутин.

Я пристыдила их, сказала, что Лева — хороший комсомолец, лучший ученик в своем классе. Но никакими хорошими сло-

вами я бы его не сумела выручить, если бы он сам себя не выручил — и не словом, а делом.

Вскоре после того, как Лева пришел к нам и познакомился с ребятами, он сказал мне:

— Марина Николаевна, давайте проведем анкету среди ребят, всего один вопрос: чем бы ты хотел заняться в свободное от уроков время?

— А зачем анкету? Может, мы просто спросим у ребят, что их интересует?

— Один скажет, другой промолчит. Анкета, по-моему, лучше.

Я согласилась. Мы задали ребятам этот вопрос и просили ответить письменно. Ответов было множество, и, если бы свести все воедино, все они говорили об одном: хочу знать, хочу уметь.

«Есть ли люди на других планетах?»

«Что будет, если солнце остынет?»

«Как починить электрический чайник?»

«Как собрать радиоприемник?»

Лабутин же написал кратко, но энергично: «Хочу уметь клеить резину», — и хотя он не объяснял, зачем ему это, мы севой поняли: видимо, на случай, если лопнет камера футбольного мяча.

На сборе отряда Лева сказал ребятам:

— Почему есть кружки рисования, пения, танцев, а кружков, где учатся работать, нет? Давайте устроим такой кружок и будем учиться работать. Надо все уметь делать. Нехорошо, если человек становится втупик перед сломанной табуреткой или перегоревшими пробками. Я знаю одного парнишку, так у него если оторвется пуговица, он целый день ходит следом за мамой, за сестрой, за бабушкой и спрашивает: «Прийдите, прийдите!» А если им некогда, он так и остается без пуговицы.

— Что же, — иронически спросил Левин, — может, нам устроить кружок кройки и шитья?

— И это было бы неплохо, — спокойно ответил Лева, не обращая внимания на смех ребят, — только таким кружком я руководить, к сожалению, не могу: я не умею ни кроить, ни шить. Но я могу научить, как починить электрический утюг и чайник. Могу показать Лабутина, как клеить резину. И модель радиоприемника помогу Рябину сделать.

В кружок записалось семь человек, вскоре он вырос до пятнадцати.

Когда на уроке надо было показывать диапозитивы, мы очень мучились: портьер не было, шторы, когда-то служив-

шие для затемнения, разорвались, и мы занавешивали окна всякой всячиной; это требовало много времени и было ненадежно: в самый критический момент что-нибудь непременно падало, сваливалось. Ребята в левином кружке начали с того, что из газетной бумаги сделали светонепроницаемую штору и на круглых палках подвесили ее над окнами. Потом Лева научил их клеить резину, и ребята стали сами чинить себе калоши. Потом они сделали для класса книжную полку и с каждым разом все больше и больше увлекались новым кружком.

Лева многое мне подсказал, многому научил, мы работали с ним хорошо и дружно, а жизнь класса становилась день ото дня интереснее и разнообразнее.

Готовясь к елке, мы инсценировали басни Крылова, придумали много шарад. Братья Воробейко стояли в стороне от всего этого. Изредка и они оставались после уроков, но были посторонними, равнодушными зрителями, а мы участниками; их присутствие, пожалуй, даже стесняло нас.

Однажды я прочла ребятам забавный скетч; действующими лицами были учитель и два ученика: один — растерянный — у доски, второй — подсказчик. Скетч попробовали разыграть. Трофимов исполнял роль учителя без особого одушевления, но выходило недурно: получился этакий строгий, неумолимый педагог; он разговаривал сухо, холодно, и его ничуть не трогали муки не выучившего урок ученика. Подсказывал Володя Румянцев. Этот искренно увлекся ролью: шипел изо всех сил, всплескивал руками, таращил глаза. Получалось очень смешно. С лодырем дело обстояло хуже. Кира добросовестно выговаривал слова роли, но выходило пресно, неубедительно.

— Может быть, Володе и Кире лучше поменяться? — предложил Лева. — Володя так горячо подсказывает, что, наверно, и ловить подсказку будет с превеликим усердием.

Ребята засмеялись. И вдруг Саша Воробейко сказал:

— Дайте мне!

— Что дать? — не сразу поняла я.

— Дайте, я попробую того, который у доски.

Все зашевелились, зашумели. Кира с готовностью сказал:

— Правда, пуская попробует!

Саша вышел к доске. Он подавал реплики так выразительно, так забавно и верно, так естественно прислушивался к подсказке, запинался и перевирал, что мы без смеха не

могли слушать и дружно похлопали ему. Тут я увидела, что Александр Воробейко равнодушен к похвалам. Он порозовел, глаза блестели, и хотя он пытался сохранить обычное, полунасмешливое выражение лица, ему это плохо удавалось.

В субботу опять была репетиция. Накануне свободного дня мы разрешали себе остаться в школе подольше. Ребята сбегали домой, пообедали и вернулись. Саша примчался раньше других. Тут мы увидели, что он не тратил времени даром: за эти дни он придумал немало нового. Он делал вид, будто у него что-то записано на ладони, или потихоньку вытаскивал из кармана клочок бумажки и заглядывал в него. Не спуская глаз с учителя, он в то же время так вытягивал шею в сторону подсказчика, вставал на цыпочки, изгибался, подымал брови, что прямо-таки начинало казаться: вот у него на наших глазах вырастет левое ухо! Он был ужасно горд своими выдумками — и не зря: на елке самый большой успех выпал на его долю.

С тех пор Саша стал чуть ли не самым ревностным участником наших постановок и всегда с жаром добивался новых ролей. Раз ему случилось играть патетическую роль, и тут мы убедились, что это удастся ему куда хуже, по правде сказать, даже совсем не удастся.

Я готова была жертвовать художественными достоинствами нашей самодеятельности, лишь бы видеть Сашу вместе со всеми, такого веселого и оживленного, но боялась, что ребята, придирчивые и строгие судьи, отнимут у него роль. Однако этого не случилось. Они наперебой давали ему советы: «Ты горячей говори, горячей!» или: «Да попроще ты, чего завываешь? И руками не маши, как мельница».

Но роль оставили за Сашей.

Рассказать, что было дальше, мне трудно, потому что никаких событий я припомнить не могу. Да их и не было. Разговаривать с Сашей стало легче и проще. У нас с ним отношения стали дружеские — это обязывало его ко многому. Если вечером все, в том числе и Саша, горячо, азартно обсуждали, как поставить новую шараду, то неловко, совместно ему назавтра придти в школу, не приготовив домашнего задания, или плохо, путано отвечать у доски. А если готовил уроки Саша, то готовил их и Вася. И самое важное: они перестали быть чужими в классе.

Уже много времени спустя Саша сказал мне:

— Марина Николаевна, а ведь это я воровал тогда, и с грузовиком тоже я.

— Знаю.

— Я знал, что вы знаете...

И я подумала: ведь вот она, эта знакомая схема из многих педагогических статей: мальчик Саша не слушался и плохо учился, потом учитель привлек его к работе в кружке художественной самодеятельности, и он стал лучше учиться и помогал учителю в его трудной работе. Значит, бывает и так. Надо только понять, кого чем можно увлечь, заинтересовать, надо найти в каждом его секрет, ту самую пружинку, на которую ты, учитель, должен нажать.

В гостях у Саши Гая

Однажды в перемену ко мне подошел Саша Гай и сказал смущенно:

— Марина Николаевна, к нам дедушка из Тулы приехал... мамин отец... Он говорит: «Передай своей учительнице, что я хочу с ней познакомиться и приглашаю к нам в гости».

Саша проговорил все это негромко, запинаясь, и при этом смотрел на меня чуть испуганно: не обижусь ли я, не рассержусь ли...

— Передай дедушке большое спасибо и скажи, что я завтра непременно к вам приду,— ответила я.

На другой день (это было воскресенье) я выгладила свою самую нарядную блузку, повязала самый любимый галстук—синий с горошками. Сборы получились, пожалуй, чересчур торжественные, но ведь я так давно не бывала в гостях, и мне было приятно, что иду в семью Гая не по делу, а именно в гости, приятно, что приехал из Тулы сашин дедушка и вот хочет познакомиться со мной, сашиней учительницей.

Саша ждал у парадной двери и, увидев меня, весь просиял. Пока мы поднимались на четвертый этаж, он не умолкал ни на минуту:

— А я думал, вы не придете! А дедушка говорит: «Раз сказала, что придет, значит, придет». А я говорю: «А может, Марина Николаевна сегодня занята?» А он говорит: «Раз Марина Николаевна обещала, значит...»—тут Саша так энергично нажал кнопку, что звонок отчаянно задребезжал.

Дверь открыла сашина мама.

— А ему уж не терпелось, раз двадцать выбежал вас встречать,— говорила она, здороваясь, и провела меня в просторную комнату с высоким потолком.

Посреди комнаты стоял покрытый пестрой скатертью большой стол, рассчитанный на многолюдную семью, а над диваном, на потемневшем холсте в старинной раме, мчались к зубчатому лесу воины на таких лихих, длинногривых, крутошеих конях, какие бывают только в сказках...

Из-за стола мне навстречу поднялся худощавый седой человек.

— Здравствуйте. Будем знакомы,— дружелюбно сказал он, протягивая темную крепкую руку.— Иван Ильич. А вы Марина Николаевна, правильно?

Он говорил неторопливо, негромко, и в его речи, во всей его осанке чувствовалось глубокое, спокойное достоинство.

Мы сели за стол, Иван Ильич — напротив меня. Саша стал подле него и пристально смотрел на меня, видимо, стараясь угадать, нравится ли мне его дедушка.

— Вот приехал навестить своих... с лета не видались,— говорит Иван Ильич, внимательно глядя на меня.— А какая вы молоденькая, я смотрю. Сколько же вам лет?

— Двадцать два,— отвечаю я и вдруг чувствую, что это в самом деле что-то немного...

— Двадцать два! И образование какое же?

— Высшее. Я педагогический институт окончила.

— В двадцать два года — институт... А я к двадцати двум годам уже одиннадцать лет на заводе проработал. А образование имел три класса приходской школы. Мне сейчас шестьдесят один, я на своем заводе уже пятьдесят лет работаю. Тульский оружейный, знаете? Бывали у нас в Туле?

— Нет, не приходилось.

— Приезжайте. Будущим летом приезжайте. У нас хорошо. Сад есть. Хоть и в ладонь величиной, а все в нем найдется — и крыжовник, и клубнику, и смородину, и цветы.

Улыбается он совсем молодо, несмотря на седые усы, и его светлые, чуть прищуренные глаза тоже молоды и, похоже, не нуждаются в помощи очков.

Глядя на Ивана Ильича, я думаю: шестьдесят лет, из них полвека на заводе! Просто не верится... И я спрашиваю,— кажется в точности таким тоном, как меня иной раз спрашивает о чем-нибудь во время урока Саша:

— А что же вы делали на заводе, когда вам было одиннадцать лет?

— Начиная я мальчиком на побегушках, в девятьсот девяноста был уже мастером. А теперь помощник начальника цеха.

— У дедушки за все пятьдесят лет, кроме праздников, такого дня не было, чтобы он на завод не пошел, а сейчас у него отпуск,— вставляет Саша.

— Да, это правда,— подтверждает дед,— не упомяну такого случая, чтобы я на заводе не был. В сорок первом году в первый раз так вышло: немцы были уже под самой Тулой, на Косой горе. Лучшее оборудование, ценные станки—это мы все отправили на Урал. Завод стоял. Очень, очень тяжело было. Словно кого похоронил... Утро настает, а тебе идти некуда, и такая пустота — куда деваться, не знаю, все из рук валится... И тут, в самые эти тяжелые дни, присылают за мной с завода. Я тут же пошел. Меня безо всякого пропустили к директору. Встал он мне навстречу, поздоровался и говорит: «Надо завод восстанавливать, Иван Ильич». А я ему: «Спасибо за память, а я хоть сейчас готов». Пошли мы на завод. В цехах стужа, окон нет, полкорпуса льдом заросло. А станки стоят... все лом, все лом один, ветхость негодная! Вставили мы кое-какие стекла, соорудили печки-временки, сбили лед, стали ремонтировать станки. Легко сказать: «восстановить»,— а каково это было делать? Ни напильников, ни резцов, ни фрез, ни одного исправного станка — ничего у нас не было. Из-под снега откапывали негодный инструмент, бросовые детали; разыскивали все, что только можно было, и если хоть малость было похоже на станок, ремонтировали и тащили на завод — на салазках, на тачках, кто как мог...

— Мама рассказывала про него: домой придет, а руки, ноги отмороженные, распухли все,— негромко говорит мать Саши.

— А другие как же? — мягко возражает Иван Ильич. — Я, другой, третий—каждый помогал, и в самую осаду, когда немец был на подступах к городу, завод наш работал во всю силу. Люди приходили, спрашивали: кто это так спланировал, кто так сделал? А нам никто не планировал, мы все сами.

Пока Иван Ильич рассказывал, Ольга Ивановна, мать Саши, накрыла на стол, налила нам чаю. Саша помогал ей хозяйничать: быстро и без лишнего шума принес посуду, бегал на кухню.

В передней снова задребезжал звонок — пришел с работы отец Саши, высокий, светловолосый, с подстриженными, как

у тестя, тоже начинающими сесть усами. Он весело поздоровался, быстро прошел в кухню умыться и затем присоединился к нам. А чуть погодя пришел старший брат Саши — ученик девятого класса нашей школы.

Мне было хорошо с ними — просто и свободно, как со старыми друзьями. Я и о себе рассказала немного, — это у меня получается не часто и как-то всегда обрывисто, а тут мне захотелось рассказать, как я с шести лет потеряла родителей, как училась до седьмого класса у Анны Ивановны, как потом, уже в войну, училась в институте, и как в марте сорок второго получила известие, что под Смоленском погиб единственный родной мне человек — старший брат, который вырастил и воспитал меня. А в сентябре сорок пятого я пришла в школу и вот стала учительницей Саши.

— Трудно вам с ними, с мальчишками? — спросил Иван Ильич и тут же, не дав мне ответить, перевел речь на другое: должно быть, он подумал, что при Саше об этом говорить не следует.

«Вот он откуда такой, наш Саша Гай!» — думалось мне.

Я вспоминала, как Саша доброжелателен с товарищами, сколько в его поведении мягкости и вместе с тем достоинства, сколько спокойствия и энергии, деликатности, прямоты, и понимала, что в его характере слились, сплелись в одно надежное целое черты тех, кто сидел сейчас здесь, за одним столом со мною.

Наконец я собралась уходить. Иван Ильич с Сашей пошли проводить меня. Был мягкий зимний вечер, в воздухе лениво кружились редкие снежные хлопья. Саша побежала вперед, заскользил по ледяной дорожке.

— Хороший малый, — сказал дед и повторил свой прежний вопрос: — А трудно вам, наверное, с мальчишками?

— Иной раз бывает очень трудно, — призналась я.

— Это и понятно. Я про свою работу скажу: у каждой машины свой характер, и требуется свой подход. А уж к живым людям, да еще к ребятам...

Мы подошли к трамвайной остановке.

— Рад, очень рад был с вами познакомиться, — сказал на прощанье Иван Ильич, крепко пожимая мне руку, и я совсем близко увидела его серьезные и ласковые глаза.

Я от всего сердца ответила на это дружеское рукопожатие, простилась с Сашей и вскочила на подножку подошедшего вагона с таким чувством, словно этот старый человек не просто до трамвая меня проводил, а напутствовал в даль-

нюю, нелегкую дорогу и его доброе слово непременно принесет мне удачу в пути.

С этого дня я стала постоянно бывать в семьях своих учеников. Я гораздо больше училась сама, нежели советовала и наставляла,— для советов и наставлений у меня не было еще ни опыта, ни знаний. Но я чувствовала: опыт день ото дня прибывает, незаметно, по крупице. Все тверже и увереннее я чувствовала себя и с детьми и с родителями.

Я многое увидела в семьях своих ребят и куда лучше понимала теперь их характеры и поступки. И поэтому мне стало с ними легче. Я уже не рисковала на каждом шагу сделать грубую ошибку, незаслуженно задеть кого-нибудь. Уловив, например, на уроке рассеянный взгляд Сережи Молчанова, я не делала ему вслух замечания, потому что знала: у него серьезно больна мать. Увидев, как на мой вопрос: «Кто не приготовил сегодня уроков?» — Леша Рябинин, вспыхнув, поднимает руку, я только после занятий спрашивала о причине, потому что была у него дома и знала, как много забот падает на его двенадцатилетние плечи. Мать его — проводник на железной дороге, в семье трое ребят. Леша самый старший. На нем лежит все хозяйство: рано утром он отводит малышей в детский сад и идет в школу; после уроков убирает комнату, готовит обед; приведя братишек домой, кормит их, укладывает спать и только после этого садится делать уроки. Раз в три дня приезжает мать — стирает, чинит, закупает продукты и снова уезжает, оставляя весь дом на Лешу. А мальчишка учится — и неплохо. Он какой-то ладный, деловитый, трудолюбивый. В классном шкафу навел образцовый порядок: засучив рукава, протер все полки мокрой тряпкой, расставил книги и наглядные пособия; каждая мелочь у него на своем месте, все под рукой, все легко найти. Ежедневно он кнопками прикалывает на мой стол большой лист плотной белой бумаги, а после занятий снова прячет его в шкаф. Все, о чем ни попросишь Лешу, он делает быстро, охотно и толково.

Дома у него я застала идеальный порядок — самая хозяйственная девочка не прибрала бы лучше. И это было не напоказ, — ведь он не знал, что я приду, порядок был устойчивый, повседневный. Рябинины жили в небольшой комнатке с антресолями, наверху помещались кровать Леша и крошечный стол для его занятий. Все было чисто, опрятно; малыши, спокойные и добродушные, беспрекословно слушались старшего брата.

Постепенно родители моих ребят стали все больше помогать мне в наших школьных делах. Мать Сережи Молчанова, машинистка, перепечатала на всех список книг для внеклассного чтения; отец Вити Лопатина, художник, помогал украшать класс в предпраздничные вечера; сестра Бори Левина играла на рояле и аккомпанировала нам.

Переписка

Однажды в «Комсомольской правде» был помещен очерк, и в нем рассказывалось о нашем классе. Ребят этот очерк не очень заинтересовал: фамилии учеников там были изменены, номер школы не назван, события обобщены, и мало кто понял, что речь шла о нас. Но на очерк откликнулось очень много народу. В редакцию на мое имя стали приходить письма от совершенно незнакомых людей, из городов и сел, где мне никогда в жизни не приходилось бывать, подчас из таких далеких, глухих уголков нашей страны, что я не могла отыскать их на карте. Писали мне люди самых разных возрастов и профессий, — и я неожиданно увидела, что для всех них, даже для тех, кто нисколько не причастен к педагогике, работа школы и воспитание ребят — близкое, кровное, глубоко личное дело. Меня подробно, с живым и сердечным участием расспрашивали о дальнейшей судьбе ребят, которые упоминались в очерке, давали мне советы, просили написать. И хотя отвечать на эти письма было делом нелегким, на душе стало очень тепло от них. Чувство большой благодарности не оставляло меня. Важно и радостно было узнать, что работа моя близка и интересна многим и многим людям!

Среди писем, полученных мною в то время, было одно с Дальнего Севера. Это письмо повлекло за собою много других писем, и потому я перепису его сюда целиком:

«Здравствуйте, Марина Николаевна! Вам пишет моряк с Северного флота. Сегодня на корабль принесли газету «Комсомольская правда», и в ней я прочел статью про вашу школу. В этой статье подробно рассказывается, как Вы воспитываете своих учеников и какая это интересная учительская работа.

И вот мне невольно захотелось написать Вам и поделиться мнением.

Вы знаете, Марина Николаевна, я тоже был таким же, как один Ваш ученик. Я все так же делал наоборот, я старался

огорчить, обидеть, оскорбить учителя. Я даже не понимаю сейчас, зачем я это делал? Во мне просто жил какой-то упрямый дух.

Вот мне вспоминается случай из моей школьной жизни. Я учился в пятом классе. Украинский язык преподавала нам молодая учительница, очевидно, только что окончившая педагогический институт, Тамара Ивановна. И я, вместо того, чтобы слушать ее уроки, ходил по классу, задирал девочек и мальчиков, кричал, смеялся и считал себя героем. И все это очень хорошо помню, хотя мне уже двадцать три года и детство позади. И вот, надо Вам сказать, что в моей жизни сыграл большую роль мой классный руководитель Иван Петрович Усик. Я ему очень многим обязан. Он научил меня уважать людей, показал мне, что я не герой, а грубиян и хулиган, он сделал так, что мне стало стыдно. И мне кажется, что Вы воспитываете своих ребят так, как меня воспитывал Иван Петрович. Желаю Вам успеха, Марина Николаевна! Если Вам нетрудно будет, напишите мне, как сейчас учатся Ваши ученики. Пожалуйста, не откажите в этом. Мне очень это интересно. Передайте им привет и скажите, чтоб они были отличниками в учебе. Мне очень хочется знать, как они живут и учатся, мне кажется, что они мои младшие братья.

Желаю Вам и им успеха.

Нехода Анатолий Александрович».

За минуту до конца урока я сказала ребятам, что получила письмо с Севера, и передала им привет от незнакомого моряка. Мальчики столпились вокруг моего стола, и, несмотря на строгие уговоры дежурного, никто не выходил из класса: всем хотелось узнать, что за моряк, воевал ли он, давно ли на Севере?

Когда уроки кончились, у дверей учительской собралась добрая половина моего класса.

— Марина Николаевна, — услышала я, не успев переступить порог учительской, — мы решили написать тому моряку на Север. Можно?

— Конечно, можно. Адрес у меня есть.

— Только, знаете, мы просили Леву, чтобы он написал, а мы все подпишемся. А он говорит: «И не подумаю! Пишите сами». Вы ему скажите!

— Что ж я ему скажу? Он совершенно прав. Разве вы первоклассники, сами не можете написать?

— Так вот Лабутин написал на прошлой перемене, а все говорят — плохо.

— Дайте-ка, я прочту.

На листке, который нерешительно протянул Лабутин, я прочла:

«Дорогой тов. Нехода!

Мы, ученики IV класса «В», шлем Вам пламенный привет из красной столицы. Мы благодарим Вас за привет и просим написать побольше о вашей жизни, а мы обязуемся учиться отлично».

— А тебе самому это нравится? — спросила я.

— Нет, — честно признался Лабутин.

— А почему не нравится?

Наступило молчание.

— Из него ничего не поймешь, — подумав, сказал Гай. — Как будто это и не от нас.

— Совершенно верно. Анатолий Александрович прочтет и ничего о вас не узнает и не поймет, что вы хотите знать о нем. Напишите простое и понятное письмо о том, как вы живете, что делаете.

И письмо было написано — большое, подробное, обо всех школьных делах.

«Видели ли вы метро? — спрашивали ребята. — Если не видели, то сообщите, мы вам все опишем и нарисуем, у нас некоторые ребята хорошо умеют рисовать. Мы вас просим, расскажите, какая природа на Севере. Видели ли вы северное сияние? Воевали или нет? Опишите самое интересное, что с вами было на войне. И напишите, как быть тем ребятам, которые тоже хотят стать моряками? Один наш ученик, Воробейко Александр, хочет стать моряком, только не на Севере, а на Черном море».

После уроков мы чуть ли не всем классом дошли до угла переулка, где письмо было торжественно опущено в почтовый ящик.

...И ребята стали ждать ответа. Ждали нетерпеливо; утром, встречая меня, непременно спрашивали, не пришел ли ответ.

Ребята не хотели принимать в расчет ни расстояние, отделявшее нас от Варенцова моря, ни то простое обстоятельство, что у моряка Неходы могут быть другие дела, кроме переписки с незнакомыми московскими мальчиками.

Но оно пришло, наконец, пухлое, увесистое письмо, и я в тот же день прочтала его вслух. Я не могла пожало-

ваться на невнимательность слушателей: в классе стояла тишина, только посапывал от великой сосредоточенности Володя Румянцев, и каждый раз, переворачивая страницу, я видела перед собой его совершенно круглые глаза.

Незнакомый человек, моряк с дальнего Северного флота, писал так:

«Дорогие, милые мои ребята!

От всего сердца благодарю вас за то, что вы написали мне, я был очень рад вашему письму. Поэтому, не теряя ни минуты, спешу дать ответ, чтобы не остаться перед вами в долгу.

Когда читал ваше письмо, то невольно вспомнил детство, и захотелось опять стать мальчиком, учиться в школе и играть в футбол.

Время сейчас 23 часа 30 минут, на улице тепло—всего пять градусов мороза. Ночь светлая. На небе полярное сияние. Если бы вы только видели, какая это красота! Воздух чистый и сладкий, как после дождя. Дышишь и не надышишься, смотришь и не насмотришься — так хорошо. Мне кажется, нет прекрасней Севера, и, по-моему, Александр Воробейко (не знаю, Шура он или Саша) не прав, что не хочет служить на Северном флоте. Если он хочет быть истинным моряком, то он обязательно должен пойти служить только на Север. Ибо Север воспитывает волевые качества настоящего моряка, который не боится ни шторма, ни туманов, ни снежных метелей. А моряк, вы сами знаете, должен быть вынослив, смел и отважен. Ведь недаром говорят о моряках: «Сказать, что моряк храбр, смел, вынослив», — это все равно, что сказать: «У человека две ноги и две руки». Поэтому Саша должен идти только на Северный флот. Но прежде чем стать моряком, нужно хорошо учиться. Море не любит безграмотных, нерадивых, несмелых людей — это вы и сами, наверно, знаете».

Затем Нехода рассказывал о том, как он был на войне, как однажды со своими товарищами потопил подводную лодку, как был ранен, но с поста не ушел.

«В следующем письме, — говорил Анатолий Александрович в заключение, — расскажу, как я два раза был торпедирован, — но только с тем уговором, что ваше письмо будет второе длиннее, чем первое, хорошо?»

Привет вам от моих друзей и товарищей — моряков. Все они желают вам наилучших успехов в вашей жизни.

Пока до свидания. Жду с нетерпением ответа...

Ваш друг Анатолий Нехода».

Надо ли говорить, что он был написан немедленно, этот ответ, и действительно оказался раза в три больше предыдущего письма? Надо ли говорить, что Саша Воробейко тут же решил стать самым настоящим северным моряком и думать забыл о Черном море, да и все остальные ребята чуть ли не поголовно собрались изучать Север, ехать на Север, плавать на Севере. Саша был ужасно польщен тем, что чуть ли не половина письма посвящена ему, и кроме общего ответного письма пошло еще одно—лично от Александра Васильевича Воробейко,—он так и подписался полностью—именем, отчеством и фамилией.

Анатолий Александрович стал писать часто. Он не только отвечал на письма ребят, но иногда писал не в очередь. Как-то ребята упомянули, что они послали книги пионерам села Покровское. В следующем письме Неходы мы прочли такие строки:

«Покровское я знаю. Я сам с Украины. У меня в тех местах жили отец с матерью, два брата и сестра. Немцы наше село сожгли, и все мои родные погибли. Я остался один из всей семьи».

— Тут не знаешь, что и отвечать,—тихо сказал Гай, когда Лева закончил чтение.

Они, помнится, ни словом не коснулись этого в ответном письме, но, мне казалось, они почувствовали: эта переписка нужна не только им, а и Анатолию Александровичу.

Писали ребята по очереди, потом прочитывали письмо в классе и с общего одобрения посылали. Но как-то, когда Борис сказал: «Я ответил Анатолию Александровичу, прочитать?»—Рябинин сухоовато отозвался:

— Что же сегодня посылать? Сегодня за диктант пять двоек. А на рисовании тебя выгнали из класса — об этом как, тоже написал?

В самом деле, писать об этом было неловко, и Борис сконфуженно спрятал листок.

Нехода обычно спрашивал о делах и успехах то одного, то другого. Выбрав наугад одну из фамилий (под первым письмом подписались все), он просил сообщить, как учится этот мальчик? Какой предмет больше всего любит? С кем дружит? Каким спортом увлекается? Довольна ли им я, учительница? Так он познакомился со многими. В день, когда кто-нибудь получал плохую отметку, ребята не писали на Север: им хотелось посылать туда только хорошие вести.

И тот, кто получил двойку, чувствовал, что подвел класс, лишил всех удовольствия во-время ответить другу. Так мы стали богаче радостью, новая дружба стала неотъемлемой частью нашей жизни.

Федя Лукарев

Федю Лукарева перевели к нам из другой школы в середине октября. Он быстро сошелся с ребятами, стал своим в классе, но что-то в нем было мне не по душе. Он любил паясничать, кривляться и готов был на любую нелепую выходку, лишь бы привлечь к себе внимание. В перемены он почти всегда оказывался в центре шумного, смеющегося кружка: он что-то громко рассказывал, мяукал, кричал петухом. На уроках он неимоверно гримасничал, передразнивал кого-нибудь из ребят, а то и учителя. Выходило обычно очень похоже, ребята фыркали, и Лукарев в такие минуты, видимо, чувствовал себя героем. Сам он при этом никогда не смеялся, лишь изредка улыбался какой-то странной, короткой улыбкой. Большой, очень подвижный рот казался чужим на его худом, узколобом лице. Я наблюдала за этим беспокойным мальчуганом, присматривалась к его обезьяньей мимике и не могла отделаться от какого-то странного, двойственного ощущения. Мне чудилась тут искра своеобразной одаренности: Лукарев очень похоже передразнивает, очень верно схватывает и шаржирует самые характерные черточки окружающих, — но как напряженно, непрерывно он старается во что бы то ни стало рассмешить, поразить, обратить на себя внимание!

Лукарев очень дерзко отвечал учителям и всякий раз при этом победоносно оглядывал класс: «Вот я какой, видали? Никого не боюсь!» Однажды—это был первый урок, после звонка прошло минут десять — в коридоре раздалось что-то вроде громкой пощечины, дверь с грохотом распахнулась, в класс влетел портфель, а за ним, спотыкаясь, словно его сильно толкнули, вбежал Лукарев и растянулся на полу. Мы опешили, не понимая, что случилось. Лукарев шумно, с какой-то нарочитой неуклюжестью поднялся и, глядя не в лицо мне, а куда-то мимо, принялся многословно объяснять:

— Марина Николаевна! Я не виноват. Я опоздал. Стою у двери, думаю: что делать? А тут идет какой-то большой па-

рень, верно, из десятого класса. Я его не трогал, а он вдруг как даст мне, а потом как втолкнул меня, вот я и полетел...

Он еще долго говорил что-то, а я смотрела на его кривую мимолетную усмешку, на глаза, упорно не желавшие встречаться с моими, и думала: «Все неправда. Никто тебя не трогал и не толкал. Ты сам хлопнул в ладоши, чтобы вышло похоже на затрепину, сам распахнул дверь...»

Но доказать это я не могла. Поэтому я сухо сказала:

— Садись,— и по хитрой, довольной усмешке, на мгновение тронувшей его выразительный рот, поняла, что не ошиблась: он нарочно разыграл всю эту комедию.

После этого я особенно отчетливо поняла: Андрей Лукарев — это новая задача для меня.

А вскоре произошло вот что.

Шел мой урок. У доски стоял Кира Глазков и писал грамматическое упражнение. Мне показалось, что какое-то слово написано неверно, и я подошла поближе, загорюдив доску Андрею Лукареву, сидевшему на первой парте слева. И вдруг он отчетливо произнес:

— Ну вот, встала, как дерево, ничего не видно...

Я обернулась, чувствуя, что бледнею. У меня задрожали руки, я уронила карандаш,— в тишине было слышно, как он покатился по полу. Больше всего ужаснула меня эта глубокая тишина. Класс молчал. «Почему они молчат? — пронеслось у меня в голове.— Как они смеют молчать, когда этот мальчишка так оскорбил меня? И еще: Лукарев учится с нами уже полтора месяца, как же он не понял, что с такими словами, таким тоном нельзя обращаться ко мне? А ребята молчат. Значит, все, что я сделала, пошло прахом, значит, все напрасно и ничего не удалось мне добиться?» Все это я успела передумать в какие-то короткие, страшно емкие секунды напряженной тишины, и так же быстро созрело решение.

— Вот что,— сказала я.— До сих пор я была твоей учительницей, а ты моим учеником. Но теперь я вижу, что ты не уважаешь меня. И поэтому ты больше не мой ученик. Можешь ходить на мои уроки, можешь не ходить—мне все равно. Но учить тебя, разговаривать с тобой я больше не буду.

На мое счастье, в это время раздался звонок, и я вышла из класса.

О своем решении я сказала Анатолию Дмитриевичу. Он покачал головой и произнес задумчиво:

— Попробуем...

Поняла меня и мать Лукарева, которую я просила особенно внимательно следить в это время за тем, как Андрей готовит уроки.

Я понимала, что делаю рискованный шаг, но поступить иначе не могла. Это не был просто воспитательный прием, способ, которым я рассчитывала вернее воздействовать на Лукарева, — не в этом дело. Не ради него только, а ради себя я не могла иначе. Я думала: «Да, я педагог, но вместе с тем человек же я! И, как всякий живой человек, я имею право на гнев и обиду».

Сначала Лукарев пробовал сделать вид, будто ничего не произошло. На переменах, например, он, как ни в чем не бывало, вместе с другими подходил ко мне, но я никогда не обращалась к нему.

Как выяснилось, на ребят я обиделась напрасно: они приняли мою обиду близко к сердцу. Подумав, я поняла, что в тот первый миг они замерли и замолчали, потому что были ошеломлены не меньше меня. Они разговаривали с Лукаревым, но только по необходимости. Андрей прекрасно рисовал, но никто не обращался к нему, как прежде, с просьбой оформить газету. Он лучше других играл в шахматы, но старостой шахматного кружка избрали не его, а Киру Глазкова.

Но больше всего уязвляло Лукарева отношение ребят к его шуткам. Никого больше не сместили его гримасы, он мог сколько угодно мяукать, лаять, кукарекать — никто даже не поворачивался в его сторону. А когда он раз изобразил (и, по правде говоря, очень похоже), как Лева на занятии кружка близоруко разглядывает чью-то самоделку, Рябинин проворчал с безмерным презрением:

— Люди дело делают, а этот только и умеет ломаться... Обезьяна бесполезная!..

И Лукарев не огрызнулся, не спросил, как сделал бы в прежние времена: «А какая обезьяна полезная? Ты, что ли?» Он сделал вид, что не слышал слов Леша, и медленно отошел в сторону.

На уроках литературного чтения мы занимались Горьким. По программе, надо было прочесть всего несколько отрывков из «Детства» и «В людях», но я поняла, что это невозможно. Дети были так захвачены, так необходимо оказалось узнать

все об этой удивительной жизни, что мы стали оставаться после уроков читать «Детство» вслух.

Где-то, кажется у Макаренко, сказано о совместных переживаниях, о том, как важны, как необходимы они для того, чтобы родился настоящий коллектив. Теперь я убедилась на опыте: нельзя вместе читать о бабушке Алеши Пешкова, о ее чудесных сказках, о пляске Цыганка, о том, как нашел Алеша путь к книге, — нельзя всем вместе простечь об этом и остаться в прежних отношениях друг с другом. Затаив дыхание, слушают ребята повесть о трудном, невеселом детстве. Минутами у них начинают влажно блестеть глаза, время от времени кто-нибудь тяжело вздохнет, кто-нибудь, сам не замечая, крепко стиснет плечо соседа. Каждый невольно ищет сочувствия и инстинктивно ощущает, что другие переживают то же самое. И это роднит нас. Мы все лучше понимаем друг друга, все охотнее поверяем друг другу свои мысли и планы, чаще советуемся. Все более дружным становится наш коллектив, наш класс.

А Лукарев оставался вне этого. Он тоже сидел среди нас, тоже слушал — и все же он был один.

Однажды кто-то из ребят предложил собраться после уроков и рассказать своими словами о детстве Алексея Максимовича: пусть каждый возьмет какой-нибудь случай и приготовится рассказать его.

— Я расскажу о том, как Алеша и бабушка ходили в лес и волк их не тронул, — тотчас вызвался Костя Орлов.

— А я — о том, как он ночевал на кладбище! — заторопился Рябинин.

— А я — про пожар!

— А я — про деда!

А Лукарева никто не спросил, хочет ли он принять участие в этой затее. Через неделю мы собрались и стали рассказывать. Рассказывали близко к тексту, бережно стараясь передать драгоценное горьковское слово.

— Кричат щеглята, щелкают любопытные синицы, они хотят все знать, все потрогать и одна за другой попадают в западню, — рассказывает Кира Глазков, назвавший свой эпизод «Ловля птиц».

— И аптекарь учил Алешу: «Слова, дружище, как листья на дереве, и чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться! Книга, дружище, как хороший сад, где все есть: и приятное и полезное», — с воодушевлением продолжает Ваня Выручка.

А Боря Левин не в состоянии придерживаться точного текста:

— И вот Алеша задолжал лавочнику за книгу сорок семь копеек,— горячо, торопливо рассказывает он,— Алеша просит: «Подождите, уплачу я вам ваши деньги»,— а лавочник ему дает свою руку и говорит: «Поцелуй — подожду!» А Алеша был горячий, он как схватит гири и замахнулся на лавочника!

Один рассказывал получше, другой—похуже, но никто не был равнодушным! Каждый по-своему, они горячились, они горевали и радовались вместе с Алешей, и при этом в жестах, в интонациях, в самом выражении лиц ясно сказывался характер каждого рассказчика.

Через час я спросила:

— Может, довольно? Может, оставим до следующего раза? Все ведь устали.

Но никто и слышать не хотел об этом. Прошло еще полчаса, и тут только я чуть не силой отправила ребят домой.

Мы вышли из школы все вместе. Поздняя осень неожиданно порадовала несколькими на удивление ясными, теплыми днями, и вечер этот был какой-то очень прозрачный и светлый. Ровный, сухой асфальт звонко откликался на наши шаги, словно приглашая привычно пуститься наперегонки по всему переулку. Но на этот раз мои ребята ничего не замечали.

— Больше всего люблю про то, как Цыганок пляшет! — говорил Гай.

— Как Левин хорошо рассказал про Алешу и лавочника! Ведь хорошо, да, Марина Николаевна? — возбужденно перебивает Румянцев.

На углу мы останавливаемся и еще долго говорим, обсуждаем, перебираем в памяти страницу за страницей, жалеем, что никто не рассказал о королеве Марго, о том, как Алеша впервые прочитал «Руслана и Людмилу».

Лукарев шел вместе с нами, но за всю дорогу не сказал ни слова. Когда мы остановились, он тоже постоял секунду, потом снял шапку, подкинул, опять надел и, ничего не сказав, не попрощавшись, зашагал дальше один.

Я поглядела ему вслед и вдруг ощутила острую тревогу. Она уже давно жила во мне, но тут я почувствовала: она меня больше не оставит. «Неужели ему все равно? — подумала я.— Неужели ему легко вот так, молча, оставаться в стороне от нашей жизни, которой с таким увлечением, с таким жарким интересом отдаются все остальные ребята?» Я знала: Федя— способный, неглупый мальчик. Требуемое по программе он

знает. Об этом я могла не беспокоиться. Но ведь всего остального, что не значится ни в какой программе, он был лишен. Мы смотрели фильм «Детство», были в музее Горького, без конца делились впечатлениями. А Лукарев был все время где-то рядом, около—и все же не с нами. Но понимал ли он это?

Спокойствие, уверенность в своей правоте оставили меня. Неотвязная тревога следовала за мной повсюду. Что бы я ни делала, я не могла не думать о Лукареве. После того горьковского вечера он перестал быть таким веселым и шумным, напротив, какая-то угрюмость появилась в его поведении, в выражении лица. Я только не понимала, отчего это: жалеет ли он о том, что произошло, или озлобился?

И самый воздух в классе стал каким-то другим, хотя внешне ничто не изменилось. Так бывает, когда в семье кто-нибудь болен и все условились об этом не говорить, но не думать не могут. Так было и у нас: мы не упоминали о случившемся, но и забыть не могли, над нами вдруг словно нависло какое-то темное облако, и уже не было нам всем друг с другом по-прежнему легко и радостно.

Дня три спустя меня позвал к себе Анатолий Дмитриевич.

— Как у вас с Лукаревым? — спросил он.

— Попржежнему, — ответила я.

— Вы все еще уверены, что поступили правильно?

Я ответила не сразу:

— Нет, теперь я этого не знаю.

Анатолий Дмитриевич шагал по кабинету; потом остановился у окна и стал смотреть на улицу.

— Боюсь, придется перевести его к Екатерине Павловне, — сказал он наконец. — Это — ложное положение. Вы сказали: «Ты не мой ученик». Он не извинился. Так не может долго продолжаться, ведь правда?

Перевести в другой класс! Это ошеломило меня. Переложить свою беду на чужие плечи, предоставив кому-то другому исправлять и доделывать то, чего не сумела, с чем не справилась я?

— Нет, нет! — вырвалось у меня.

— Ну, а как же? — мягко возразил Анатолий Дмитриевич и, чуть помолчав, прибавил: — Подумайте еще, голубчик. И поймите: тянуть с этим нельзя.

...Вечером я постучалась у хорошо знакомой двери.

— Подождите, она сейчас вернется, — сказала мне соседка, открывая комнату Натальи Андреевны.

Я бывала тут не раз, и все мне было уже привычно в этой комнате: уютный диван, фотографии детей на стенах, полка с книгами, большая шкатулка с письмами учеников.

Я под села к столу и начала перелистывать детские тетради. «Сколько их проверено за сорок лет?»—мелькнула у меня мысль. Раскрыв очередную тетрадку, я увидела почерк самой Натальи Андреевны. Замелькали имена детей—Мити, Саши, Володи... Дневник? Но успела я сообразить—и вдруг увидела слова: «...я люблю их больше жизни». Поспешно закрыв тетрадь, я отошла от стола. Было так, словно нечаянно нескромно я заглянула в самое сокровенное, что никому не поверяют, о чем думают только наедине с собой.

Я сразу ушла, наскоро объяснив соседке, что не могу дожидаться Натальи Андреевны, но это и неважно—завтра в школе мы увидимся и поговорим.

Я шла и думала:

«Ты не мой ученик...» Как же так? Я должна говорить и делать то, во что верю, и, начав, доводить до конца. Я сказала Лукареву, что он не мой ученик. Но ведь он мой. Я отвечаю за него и не могу лишиться этой ответственности: она тяжела, но она дорога мне. Каков же здесь логический конец? Перевести в другой класс? Я понимаю, это тоже воспитательная мера, это—испытание и наказание: ведь Лукарев привык к классу, любит его, ему будет трудно лишиться товарищей. Но я не хочу этого!

...А на другой день я шла после уроков по коридору и увидела: Лукарев стоит у окна и плачет.

— Марина Николаевна! — окликнул меня шедший навстречу Анатолий Дмитриевич.—Это ваш ученик?

Я не успела ответить.

—Ващ, ващ, я ваш ученик!—вдруг закричал Федя.

Он подбежал ко мне, схватил за руку и, захлебываясь от слез, проговорил:

— Марина Николаевна, простите меня! Накажите, как хотите, но только пускай я опять буду ваш ученик!

Конечно, он много мучился и много передумал за эти дни, я видела это. Мне кажется, он понял простую истину человеческого общежития: если хочешь, чтобы тебя уважали, сам уважай других—только тогда ты будешь человеком среди людей, равноправным членом коллектива и все будут относиться к тебе, как к товарищу.

Но и для меня этот случай тоже стал уроком на всю жизнь. Я поняла: Лукарев, как каждый из моих мальчиков — пусть он строптив, упрям, пусть с ним трудно—это мой ученик. Что бы не было, мой, мой со всем плохим и хорошим, что в нем есть!

Дима Кирсанов

Был у нас мальчик, приехавший из Ростова; звали его Дима Кирсанов.

Родителей Дима потерял в раннем детстве и с тех пор жил у дяди. Своих детей у дяди не было, и он и его жена относились к мальчику, как нередко относятся родители к единственному, да притом еще болезненному ребенку, с тревожным вниманием и неотступной заботливостью. Стоило Диме на четверть часа задержаться после уроков, в школу прибегала димина тетя Евгения Викторовна и с беспокойством справлялась, не случилось ли чего с мальчиком. Если у Димы утром болела голова, его не пускали в школу не только в этот день, но и на второй и на третий, хотя бы он успел уже забыть о головной боли. Дима заметно стеснялся этого, тем более что кое кто из ребят, — в частности, неугомонный Левин — не прочь был кинуть в пространство ехидное замечание о телачьих нежностях и о том, что бывают, дескать, такие, про которых не поймешь, то ли это мальчишки, то ли девчонки, то ли грудные младенцы: в школу их провожают, после уроков за ними приходят, а дома, наверное, кормят с ложечки... Надо отдать Диме справедливость: он держался так, словно эти остроты вовсе не к нему относятся. Меня сразу удивило это; я не совсем понимала, то ли это — большое самообладание, то ли не совсем обычное в его возрасте равнодушие к «дразнилкам». Но долго шутить по одному и тому же поводу надоедает, и спустя некоторое время ребята оставили Кирсанова в покое.

Он превосходно учился по всем предметам, и хотя все давалось ему легко, я не замечала в нем довольно частой в таких случаях небрежности: он был очень добросовестным учеником, уроки готовил тщательно, тетради у него всегда были опрятные, и я знала, что из-за небольшой кляксы он способен переписать все заново. Но — как бы это сказать? — думая об этом благополучном, спокойном, аккуратном мальчике, я испытывала почему-то смутное ощущение неловкости. Ему было всего одиннадцать лет, но когда я с ним разговаривала, мне казалось, что собеседник мой, — по меньшей мере, мой сверстник. Он был очень взрослым, этот мальчик. Взрослый человек смо-

трел на меня со страниц его сочинений. И говорил он, как взрослый,—очень литературно, свободно пользуясь сложными предложениями, причастными и деепричастными оборотами. Не по-детски сдержанно, взвешивая каждое слово, отзывался он о прочитанных книгах, о товарищах. И он был единственный, кто ни разу не принял участия в письмах на Север.

— Не думаю, что Анатолию Александровичу так уж интересно переписываться с нашим классом,— сказал он однажды.

— Да зачем же он тогда нам пишет, если ему не интересно?— с искренним изумлением спросил Гай.

— Ему неудобно было не ответить, раз ему написали. Это было бы просто невежливо.

— Ты не прав,— вмешалась я.— Письма, написанные из вежливости, по обязанности, бывают совсем другими. Разве ты не чувствуешь, что Анатолий Александрович пишет очень тепло и сердечно?

— Я сказал то, что думаю,— спокойно ответил Дима.

— Но почему же ты так думаешь?— возмутился Левин.— Какие у тебя основания?

— Я думаю так, во-первых, потому, что Анатолий Александрович вас не знает,— какой интерес переписываться с незнакомыми? И, во-вторых, потому, что он взрослый, а вы дети.

Он так и сказал: «Вы дети».

— А ты сам кто?!— Левин готов был полезть в драку и, я думаю, полез бы, если бы не мое присутствие.

— Я не собираюсь спорить с тобой,— холодно ответил Кирсанов.

— И не спорь! Подумаешь, воображала!— с яростью крикнул Борис.

Эта кличка пристала к Диме накрепко. «Кирсанов много о себе думает», «Кирсанов уж очень о себе воображает»,— говорили ребята. Ни Горюнова, ни Гая, ни Левина—никого из лучших учеников остальные ребята не обвиняли в гордости, в зазнайстве, а вот Кирсанова считали гордецом. И правда, был как будто оттенок высокомерия в его отношении к товарищам. Но что-то мешало мне думать, что он попросту «задается». У него были вдумчивые, невеселые глаза и странно беспомощный рот, как-то неумело произносящий холодные, даже резкие слова. В такие минуты мне казалось, что он вот-вот заплачет и что его резкость—только самозащита. Но почему он сторонится товарищей? Чего боится?

Однажды, уходя из школы, я за воротами нагнала Диму:

— Ты что сегодня так замешкался?

- Хотел дочитать книгу, чтобы обменять в библиотеке.
- Что же ты взял?
- Сказки Андерсена.
- Разве ты не читал их раньше?
- Читал, конечно. Но мне захотелось перечитать «Снежную королеву». Я очень люблю эту сказку.

На улице, когда разговор начинается без всяких приготовлений, когда надо обходить застоявшиеся лужи и можно не смотреть друг другу в лицо, вот так, на ходу, разговаривается проще, откровеннее обычного. Мы с Димой шли не спеша, и я чувствовала, что могу теперь спросить его о том, о чем не удавалось спросить на людях, в сутолоке коротких перемен, среди шумной и торопливой классной жизни.

— Скажи, Дима, мне так показалось или ты в самом деле ни с кем в классе не дружишь?—спросила я.

— Это правда,—сдержанно ответил он.

— Почему так?

— А с кем же мне дружить?

Я искренно удивилась:

— Разве мало у нас хороших ребят? Горюнов, например?

— Как же я могу дружить с Горюновым, если он уже дружит с Гаем?

— А разве дружить можно только с одним человеком?

— Конечно!

Он сказал это тоном самого глубокого убеждения, и еще одна нотка прозвучала в его голосе, словно он считал самый мой вопрос довольно нелепым.

— Я не согласна с тобой,—сказала я, помолчав.—У меня в детстве было много друзей.

— А сейчас?—спросил он быстро.

— И сейчас много. И Гай дружит не с одним Толей, а и с Савенковым и с Румянцевым.

— А вот в книгах всегда один друг. Помните, у Герды—Кай, у Пети—Гаврик.

— А у Тимура много друзей.

— Но больше всех он дружил с Женей,—со сдержанным упрямством настаивал Дима.

— Так что же?

— Но не стану же я дружить с Горюновым, если Гай будет ему ближе.

Мне странно было слышать это. «Чего больше в этом мальчугане—рассудочности или самолюбия?»—спрашивала я себя. Вслух я сказала:

— Неужели и в Ростове, в школе, где ты учился прежде, у тебя тоже не было друзей?

— У меня был один друг, но я в нем разочаровался,— не сразу ответил мальчик.

Он сказал это так, что я не стала спрашивать, почему именно он разочаровался.

— У нас хороший, дружный класс,— сказала я.— И, поверь, есть много ребят, достойных твоей дружбы. И никогда не надо долго раздумывать о том, кто кому будет ближе. Если любишь человека, веришь ему,— значит, он тебе друг. А если он дружит с кем-нибудь еще, ну, значит, много хороших людей на свете. Разве не так?

— Так, наверное... Но я хотел бы иметь настоящего, единственного друга и на всю жизнь.

Мы уже давно шли куда-то совсем не в ту сторону.

— Евгения Викторовна станет беспокоиться,— сказала я.— Давай я выведу тебя обратно на Спиридоньевку... Это очень хорошо— друг на всю жизнь. Но только одного я не понимаю: почему же единственный?

— Настоящий друг— обязательно единственный,— сказал Дима не просто с убеждением, но с упрямой, почти отчаянной решимостью отстоять свою мысль.

Я долго думала об этом разговоре и с этого дня еще внимательнее, еще пристальнее наблюдала за Димой. Совсем «благополучный» мальчик. Отличник. Дисциплинирован. Безукоризненно вежлив. С кем, с кем, а с ним ни у кого из учителей никаких хлопот. И общественная работа у него есть: он хорошо рисует и потому участвует в классной редколлегии. Они с Толей— наши признанные художники— действительно прекрасно оформляют и стенгазету и журнал на зависть не только всем пятым, но и старшим классам.

Но ведь то, что происходит с этим благополучным мальчиком, гораздо опаснее того, например, что было с Воробейко или с Савенковым. Там не сразу стало ясно, каким путем идти, как действовать, но опасность была отчетлива и ощутима. А тут...

И мне вспомнился совсем как будто другой, непохожий случай.

В одно из сентябрьских воскресений мы с ребятами — собралось человек пятнадцать — поехали за город. День был чудесный, лес светился насквозь, в глубине его вспыхивали, дрожали и переливались такие оттенки золота и багрянца, которым, должно быть, нет названия в человеческом языке.

Теплый грибной запах окутывал нас, то и дело впереди разгоралась густым, бархатным румянцем круглая шапка подосиновика, а белые грибы вдруг обнаруживались целыми семействами где-нибудь в сторонке, в тени: один большой, а вокруг толстобочие малыши со светлыми шляпками. Ребята подносили мне их в запачканных землей ладонях. Они совсем опьянели от душистого воздуха, от всяких лесных неожиданностей, носились друг за другом, карабкались на деревья, с воинственными криками, охотились то на ужа, то на лягушку... Наконец все снова собрались вокруг меня, встрепанные, разгоряченные, и я предложила отдохнуть и позавтракать. Мы уселись под высокой дуплистой березой и, разложив на бумаге свои припасы, шумно принялись за еду, предлагая друг другу хлеб, огурцы, помидоры.

— Чего не ешь, Трофимов?—спросил кто-то.

— Не хочется,—ответил тот.

— Вот чудак, не проголодался! А я прямо, как зверь, голодный. Бери у меня баранки.

Я в это время объясняла Румянцеву, какие бывают трюфели, и, услышав, что Трофимов отказался от баранок, лишь мельком подумала, не нездоровится ли мальчику и не слишком ли он устал от беготни.

Потом ребята снова разбрелись в разные стороны, и тогда ко мне подошел Трофимов, вынул из сумки солидный кусок пирога, плитку шоколада и сказал вполголоса:

— Кушайте, пожалуйста, Марина Николаевна!

Я посмотрела на него в упор и резко отказалась. Он был не столько смущен, сколько удивлен и, отойдя в сторону, стал есть сам.

Возвращались мы поздно; сидели в полутемном вагоне, теснясь на скамьях в количестве, вдвое больше против положенного, и заново перебирали все свои дневные впечатления. И вдруг кто-то горестно протянул:

— Ну что будешь делать: опять есть хочется!

Я достала из портфеля запасную булку, нарезала тонкими ломтиками и раздала всем. Ребята стали отказываться.

— Ешьте сами, Марина Николаевна, мы не хотим,—уверял меня из дальнего угла тот самый Селиванов, который только что своим плачевным воплем пробудил наши аппетиты.

— Нет,—возразила я,— у товарищей в походе все должно быть общее. Что же, вы хотите, чтобы я ушла в другой конец вагона и наелась одна?

Это убедило их, каждый просто взял свою долю.

— Верно,—сказал Левин,—ото уж самое противное — прятаться от товарищей и есть втихомолку.

Я взглянула на Трофимова,—даже в этом скудном, мигающем свете видно было, что он покраснел до слез. Я быстро отвела глаза, поняв, что урок, который, сами того не ведая, дали ему ребята, достиг цели. Но меня и в ту минуту и позднее занимало другое. Ведь мне казалось, что следует усиленно заниматься воспитанием других, что с Трофимовым все хорошо: учится прилично, дисциплины не нарушает и вот в лесу веселился и бегал, как все... А оказалось, что как раз этот обычный, «средне-хороший» мальчик, «ученик, как все», требовал самого серьезного, самого пристального внимания.

Вскоре Трофимов ушел от нас: отец его вместе с семьей переехал на работу в город Горький. Я долго раздумывала над характеристикой, которую нужно было дать ему для поступления в новую школу. «Вася Трофимов—способный мальчик, успевал по всем предметам хорошо, особый интерес проявлял к математике. Очень дисциплинирован»,—написала я и поняла, что еще ничего не сказала о мальчике. А если вдуматься, что же я еще могла сказать? Что он однажды на прогулке не поделился с товарищами пирогом и в одиночку съел плитку шоколада? В характеристике это выглядело бы нелепо. А написать, что он плохой товарищ, я не имела права, потому что, в сущности, ничего о нем не знала, и если бы не случайное обстоятельство, так никогда бы и не поняла, насколько ошибочно и поверхностно мое представление о нем.

Трофимов уехал, увозя мою положительную «педагогическую характеристику», которая так всю жизнь и будет лежать у меня на совести. Мне только хочется думать, что другой учитель, более проникательный, разглядит в нем то, что осталось скрытым от меня,— не только лежащее на поверхности, но и спрятанное глубоко и, быть может, решающее в его характере,— то, с чем надо бороться, и то, что необходимо поддержать и взрастить.

Этот случай послужил мне предостережением еще до того, как я начала внимательнее присматриваться к Диме Кирсанову: именно на истории с Трофимовым я поняла, что иногда «благополучные» дети и есть самые сложные.

Вскоре после разговора с Кирсановым я дала ребятам тему для домашнего сочинения: «Мои товарищи». И сколько интересного я узнала о ребятах, об их дружбах, о том, что ценят они в товарище, какого они мнения друг о друге!

«Левин—мне друг,—писал Румянцев,—но дружить с ним трудно, потому что он слишком горячий. Другой раз и обругает ни за что. Но все же он мне друг и товарищ, потому что он честный и верный и никогда не подведет. Прежде я дружил с Морозовым, но он слишком заносится. Задачу хочет решить непременно первый и не рад, если кто другой первый решит. Мне это не нравится».

Гай писал:

«В нашем классе некоторые считают, что у Горюнова характер не мужественный. Это неправда. Вот я приведу пример. Когда Толя заболел дифтеритом, ему сделали укол. И он даже не застонал, потому что в другой комнате был его дедушка. Дедушке его восемьдесят лет, он очень больной, ему вредно волноваться. Толя умеет держать себя в руках, он очень сдержанный. Толя очень много читает и много знает и всегда хочет еще больше узнать. Он очень хороший товарищ и всегда рад всем помочь».

Меня ничуть не удивило, что добрая половина класса писала о самом Гае, называя его верным другом и хорошим товарищем. Но меня отчасти удивило и очень порадовало, что многие писали так о Саше Воробейко. Ребята любили его, это я стала замечать уже довольно давно, но сочинения сказали мне о нем много нового.

«Один раз,—писал Лабутин,—ребята с нашего двора решили меня поколотить. Они думали, что я утащил в школу их футбольный мяч, а это неправда. Они четверо меня подстерегли на углу и кинулись. Тут, откуда ни возьмись, Александр Воробейко; он, как лев, кинулся в самую гущу и всех раскидал. Если б не он, меня бы здорово избили. Из этого случая видно, что мой друг Александр Воробейко храбрый и всегда готов постоять за товарища».

Каждый из ребят рассказывал о двух—трех своих товарищах, которых он любил, которыми гордился. И только один Дима Кирсанов подал мне листок, на котором было написано: «У меня нет друзей».

А ниже стояло четверостишие, которое поразило меня до немоты:

Как хорошо, когда есть друг,
Как тяжело и одиноко
Среди совсем чужих людей,
Когда любимый друг далеко.

— Это ты сам сочинил? — спросила я.

— Да.

— О каком же далеком друге ты говоришь? О том, с которым ты дружил в Ростове?

— Нет, не о нем. Это так, вообще. Просто стихи — и все...

При первой же встрече с Евгенией Викторовой я спросила ее, с каким мальчиком дружил Дима в Ростове и почему поссорился с ним.

— Знаете, это такая грустная история! — воскликнула димина тетя. — Видите ли, Димочка подружился с Юрой Лебедевым. Прекрасный мальчик. Я была очень рада, потому что до этого Димочка ни с кем не сближался и рос очень одиноко. Юра — полная ему противоположность: веселый, подвижной ребенок, — мы с мужем были очень рады, что он стал бывать у нас. Все было очень хорошо, но, представьте, как-то учительница поручила Диме вслух прочесть в классе какой-то рассказ. Вот он читал, а Юра заговорился с кем-то из мальчиков и засмеялся. А в рассказе, понимаете ли, речь шла об очень грустных вещах, и Дима возмутился и сказал, что больше не намерен с ним дружить. Мы очень огорчались, но он такой упрямый...

Вообще говоря, я думаю, что далеко не всегда следует мириться с недостатками своих друзей и далеко не все следует им прощать. Компромисс — непрочная основа для дружбы, но разойтись с другом из-за того, что он способен засмеяться не там, где этого требует текст книги... — этого я все-таки понять не могла. Откуда такая обостренная, чуть ли не болезненная принципиальность, такая чрезмерная суровость в двенадцатилетнем мальчугане? Пока что я сознавала одно: надо что-то делать с ним, но что, не знаю, еще не понимаю...

А он понемногу начинал доверять мне, иногда мы вместе шли из школы, разговаривали, и он рассказывал о своей жизни в Ростове, о прочитанных книгах. Но с ребятами он по-прежнему не сходилась, и они, как прежде, сторонились его.

И вот однажды — это было в ноябре, сразу после праздников, — выходя из класса, я столкнулась в дверях с Евгенией Викторовой. Глаза ее были заплаканы, руки дрожали, когда она протянула мне какой-то сверток:

— Вот, Дима просил передать... Это библиотечные книги. Может быть, кто-нибудь из детей будет так добр и сдаст их в библиотеку.

— А что с Димой? Почему он сегодня не пришел? — с тревогой спросила я (нас уже плотным кольцом окружили ребята).

— Ах, Марина Николаевна! — она всхлипнула.

— Да вы войдите, сядьте, — негромко сказал из-за моего плеча Саша Воробейко.

Я провела Кирсанову в класс, усадила на первую попавшуюся парту, и она стала рассказывать.

Оказалось, мать Димы умерла от туберкулеза, и его ежегодно проверяют в диспансере, в порядке ли легкие. И вот последний рентген показал в левом легком какое-то круглое пятно, и профессор предполагает, что это эхинококк. Диму уже положили в больницу. Недели три, вероятно, продлится исследование, а потом, если эхинококк будет найден, понадобится операция.

— Вы понимаете наше состояние!— сквозь слезы говорила женщина.— Он такой слабенький. И сам Дима просто в отчаянии. Говорит: «Как же я буду? Я отстану от класса...» Ему очень не хочется остаться на второй год.

— Зачем же оставаться? Мы будем носить ему уроки,— сказал Горюнов, раньше чем я успела выговорить хоть слово.

— А позволяют ему в больнице заниматься?— спросила я.

— Врач сказал, что до операции можно. Но я думаю, это нереально. Я ведь занята на работе, я не смогу часто ходить в школу за уроками.

— Мы сами будем... Не беспокойтесь! — слышалось со всех сторон.

Евгения Викторовна с некоторым недоверием оглядела ребят. До этой минуты, поглощенная своим горем, она, вероятно, даже не замечала их, а сейчас, поблагодарив и еще раз попросив не забыть про библиотечные книги— Дима так волнуется из-за них,— ушла.

— Первый пойду я,— тоном, не допускающим возражения, объявил на другое утро Саша Воробейко.— А потом будут ходить все по очереди, по партам, через каждые два дня. Потому что если ходить раз в неделю, так это по сколько уроков будет? По пятнадцать задач сразу? А наизусть сколько учить?— и он укоризненно посмотрел на меня.

Потом Саша потребовал у Рябилина две тетрадки:

— Специально для уроков Кирсанову: одна у него в больнице, другая у нас, и каждый раз будем менять, понял?

Экономный Леша посмотрел на него с некоторым сомнением, но тетради выдал.

После уроков братья Воробейко отправились в больницу и на следующий день принесли ворох новостей. Во-первых, Саша побывал у Димы в палате, иными словами, ему удалось то, о чем только мечтали и чего не могла пока добиться димина тетя. Сначала он попытался раздеться в гардеробе, но это, понятно, ему не удалось. Тогда, недолго думая, он сунул брату

пальто и шапку, а сам, прячась за спину ходячих больных и спешащих, сосредоточенных санитаров, скользнул по лестнице на третий этаж. Там, выгадав минуту, когда коридор опустел, он шмыгнул в двенадцатую палату и быстро нашел Диму.

— Он, конечно, очень удивился, даже глаза вытаращил,— рассказывал Саша, очень довольный собой.— А я ему говорю: «Удивляться некогда, вот тебе уроки, а вот записка от Марины Николаевны. Рассказывай, как ты тут устроился?» Он говорит: «Устроился ничего, только очень скучно. Книги сюда можно носить только новые, а ребята кругом маленькие, даже поговорить не с кем. Большое,— говорит,— спасибо, что ты пришел, и тебе очень благодарен, и за уроки спасибо». Я говорю: «Уроки мы тебе будем носить каждые два дня, ты не беспокойся. Можешь писать карандашом, только аккуратно». Он говорит: «Нет, моя кровать у окошка, есть куда чернильницу поставить, и пока я еще ходячий, могу за стол садиться». Ну, мы так поговорили, а один парнишка дверь закрыл, чтобы меня из коридора не увидели. Вдруг слышим: «Что это в двенадцатой палате какая тишина подозрительная?»— и входит сестра. Тут она меня увидела и как раскритичится! «Я,— говорит,— тебя считала взрослым, умным мальчиком!»— это Кирсанову. А я ей тогда говорю: «Чем же он виноват, раз я к нему сам пришел?» А она говорит: «Я даже разговаривать с тобой не хочу, и, пожалуйста, сию минуту уходи отсюда»,— и даже покраснела вся. Ну, я взял и ушел. Мне там больше все равно делать было нечего. Что надо, я и до нее успел!

Саша рассказывал все это с таким победоносным видом, что можно было подумать, будто его проводили из больницы не с бранью, а с музыкой и цветами.

— Как он, боится операции?— спросил Горюнов.

— Я не успел спросить, в другой раз спрошу,— спокойно ответил Воробейко, нисколько не сомневаясь, что сумеет навестить Диму еще не раз и не два.

— Завтра пойдет Выручка, а четырнадцатого— Левин. Одним словом, по партам, как дежурство,— распорядился он.— Выручка, держи, это тетрадь номер два. Пойдешь, передашь санитарке и подождешь, пока Кирсанов не вернет первую тетрадку, понял? Внизу подождешь: там скамеечка.

— А потом,— сказала я осторожно,— можно написать Диме письмо и расспросить его обо всем.

Но мое предложение не вызвало ни малейшего энтузиазма.

— Какой ему интерес с нами переписываться?—негромко сказал Левин.—Мы же «дети»...

— Эх, ты, злопамятный!—одернул его Рябинин.

С Выручкой Дима прислал крошечную записку без обращения. «Большое, большое спасибо за уроки»,—стояло в ней. Кроме того он ответил на мою записку письмом, которое я после занятий прочитала ребятам.

«Дорогая Марина Николаевна!—писал он.—Как это все неудачно получилось: заболел в середине года и, кажется, долго. Меня здесь мучают разными исследованиями, каждый день выстукивают, выслушивают, пичкают какими-то горькими лекарствами, по два раза в день меряют температуру, и мне все это очень надоело. Но другого выхода нет, и надо терпеть. Большое спасибо Вам за письмо и Саше Воробейко за то, что он ко мне пришел. Я был очень благодарен ему. Он сказал, что ребята решили носить мне сюда уроки, но я сомневаюсь: ведь на это нужно слишком много времени. Это письмо, вероятно, передаст Вам тетя Женя. Всего хорошего. Привет всем.
Д. Кирсанов».

Хотя письмо это было безукоризненно грамотное и все запятые стояли на местах, оно не порадовало меня. И снова—уже в который раз!—я подумала о Диме: трудно ему. Трудно сейчас, и станет еще несравнимо труднее, если ничего не изменится. Почему случилось так, что Гай, Левин, Рябинин и другие ребята легко верят доброму слову и ждут от окружающих дружбы, привета, готовности помочь, а этот мальчуган пишет: «Я сомневаюсь: ведь на это нужно слишком много времени?»

Я уверена, что тот же Левин, будь он на месте Димы, написал бы совсем по-другому: «Ребята, очень вас прошу, носите мне уроки. И, если можно, почаще»,—и никто бы не удивился этой просьбе.

«Здравствуй, Дима!

Твое письмо Марине Николаевне передала не твоя тетя, а Выручка, потому что мы будем носить тебе уроки каждые два дня. На это не нужно очень много времени, потому что в классе нас сорок и на каждого придется по разу. Мы надеемся, что к тому времени, как в больницу надо будет пойти Кире Глазкову (он последний в третьем ряду, помнишь?), ты уже давно будешь дома. Кроме уроков, шлем тебе «Два капитана»—это книга хоть и не новая, но выглядит хорошо. Переплет совсем как новый. Читай. Напиши, что тебе еще прислать. Привет тебе от всех ребят».

Это письмо написал Горюнов, а понес его в больницу Левин.

Так и пошло. Тетрадки № 1 и № 2 стали аккуратно путешествовать из школы в больницу и обратно. Если кто-нибудь из ребят не мог пойти в тот день, когда наступала его очередь, обращались к Саше Воробейко. Он распоряжался всем, что касалось Димы и больницы, и его охотно слушались.

— Не забудь температуру посмотреть,—говорил он тому, кто назавтра должен был отправиться в больницу.—Как войдешь, с правой стороны висит большой лист. Отыщи первое хирургическое отделение и смотри: Кирсанов, второй с конца.

Сам Саша ходил в больницу раз, а то и два раза в неделю вместе с братом—своим верным помощником и оруженосцем. Это непостижимо, но единственным, кому удавалось иной раз проникнуть в святая святых—первое хирургическое отделение больницы,—был именно Саша. Дважды он ходил туда без халата и был с позором изгнан. Потом такая нелегальщина перестала удовлетворять его, и однажды он добился пропуска от врача, получил халат и, гордый и независимый, предъявил сестре свои права на визит к «больному Кирсанову».

Да, год назад я не поверила бы, что у ученика Александра Воробейко окажется такой легкий характер! Все он делал просто и непринужденно, все удавалось ему. Может быть, самой замечательной чертой этого лобастого веснучатого мальчугана с грубоватыми ухватками была его чуткость, безошибочный такт. Сколько раз при самых разных обстоятельствах он без долгих раздумий поступал именно так, как было всего лучше и правильнее! Узкие зеленоватые глаза его всегда смотрели насмешливо, в разговоре он бывал резковат, но вот, оказалось, он умеет быть и заботливым, и добрым, и ласковым.

— Да вы не расстраивайтесь,—уговаривал он Евгению Викторовну.—Не надо расстраиваться. Видел я Диму, выглядит хорошо, температура нормальная. Только о вас очень скучает,—прибавлял он, подумав,—а так все хорошо.

Почему он принимал такое горячее участие во всем, что имело отношение к Диме? Если был в классе мальчик, который с самого прихода к нам Кирсанова не обменялся с ним и двумя словами, то это был именно Саша. Но его действительно всегда касалось все, что делалось в классе,—большое и малое. Он вкладывал всю душу в переписку с Неходой. О драмкружке и говорить нечего: стоило нам приняться за подготовку новой пьесы, и Сашу уже никакими силами нельзя было вы-

гнать из школы, он готов был просиживать на репетициях до глубокой ночи. Я думаю, что вот с таким же жарким увлечением он в свое время опустошал грузовики с яблоками: все, что он делал, он делал ревностно, горячо, с душой. И это подкупало в нем. Все возрастающая популярность, которой он стал пользоваться среди ребят, несомненно, радовала его, согревала и веселила, и он чувствовал себя в школе и в классе, как рыба в воде.

От Димы записки стали приходиться чаще и уже не на мое имя, а на имя класса. Ребята время от времени добывали для него новые книги, журналы, пересылали ему в больницу «Пионерскую правду» и «Пионер».

В конце ноября исследования окончательно подтвердили: да, в области левого легкого у мальчика эхинококк. На первый вторник декабря была назначена операция.

Мы очень волновались в этот день. Ребята плохо слушали на уроках, и у учителей нехватало духу сердиться на них. Евгения Викторовна с самого раннего утра сидела в больнице, и туда же сразу после уроков пошла, наверное, половина класса.

Мы застали Евгению Викторовну на скамье в вестибюле. Измученное лицо ее словно окаменело, глаза смотрели в одну точку.

— Сейчас идет операция,—едва шевеля губами, сказала она, когда мы подошли, и сразу умолкла, видимо, не в силах говорить. Потом молча протянула мне записку:

«Дорогая тетя Женя, через полчаса операция. Чувствую себя хорошо, не волнуйся, все будет в порядке.

Твой Дима».

— Это, наверное, все из школы Кирсанова?—с улыбкой сказала, проходя мимо, молоденькая сестра в ослепительно белом халате и столь же ослепительной косынке на кудрявых волосах.— Вот счастливец! К нему чуть не каждый день из школы приходят!

— У Кирсанова сейчас операция,— строго сказал Саша.

— Ах, вот что, операция!..

И, сочувственно оглядев нас, сестра исчезла, а мы остаемся и ждем, ждем ужасно долго. На измученном лице Евгении Викторовны все глубже обозначаются какие-то старческие морщинки; ребята переводят с нее на меня беспокойные, недоумевающие глаза, а я чувствую, что во мне растет неотвязная

тревога. В самом деле, мальчик такой хрупкий, а операция, должно быть, очень серьезная. И почему так долго?

В пятом часу в вестибюль спустился дежурный врач и, отыскав взглядом Кирсанову, поспешно подошел к нам.

— Только что закончили операцию. Все хорошо, все благополучно,—быстро сказал он, понимая, с каким нетерпением и тревогой все ждут этих слов.

Евгения Викторовна еще сильнее побледнела, а ребята, обрадованные, зашумели.

— Где вы находитесь! Прекратите сейчас же, а лучше всего идите на улицу,—резко сказал врач, и, не дожидаясь повторного приглашения, ребята высыпали во двор.

Евгения Викторовна ни за что не хотела уходить из больницы; мы почти насильно отвели ее домой, доказывая, что по телефону она в любую минуту сумеет связаться с больницей и узнать не меньше, чем узнает, сидя здесь, в вестибюле.

— Да где уж!—рассказывал на другое утро Саша.—Разве она усидит дома! Она сразу вернулась в больницу и до поздней ночи там сидела, насыла врач прогнал.

— А ты откуда знаешь?

— Я сам с ней сидел,—мимоходом пояснил Саша и гордо продолжал.—А молодец Кирсанов! Врач говорит: шел на операцию и хоть бы глазом моргнул! Ни капельки не боялся! Температура нормальная,—продолжал он.—Уроков пока носить не надо: он будет лежать и не сможет заниматься.

Но ребята продолжали ходить в больницу и без уроков: носили записки, просто справлялись о температуре, о самочувствии; Воробейко ухитрялся забегать в больницу совсем рано утром, еще до уроков, и перед первым звонком сообщал нам последние новости.

Через десять дней Диму выписали. На следующий день к нам пришла Евгения Викторовна, постаревшая, осунувшаяся, но счастливая и сияющая.

— Мы так счастливы, что все прошло благополучно и Дима наконец дома!—сказала она.—Марина Николаевна, дорогая, может быть, вы заглянете к нам? И, может быть, кто-нибудь из детей зайдет? Дима так хочет всех видеть!

Вечером мы отправились к Диме—брatья Воробейко, Горюнов и я.

Он лежал высоко на подушках, очень бледный, почти прозрачный. Глаза стали большие и смотрели на нас внимательно и вопросительно. Мы сели у его кровати.

— Я очень рад, что вы пришли,—сказал Дима.

— И мы рады,—спокойно ответил Саша.—Вот тебе письма, держи: это от Гая, это от Рябинина, а вот книжка—это от Левина. «Дорогие мои мальчишки» писателя Кассидя. Интересная. К тебе все хотели пойти, но я сказал: мы квартиру разнесем, если все сразу явимся.

— Я, наверное, отстал,—в тихом голосе Димы звучит тревога.—Что вы теперь проходите? Я ведь уже десять дней совсем не занимаюсь!..

— Ну, сейчас повторение, а потом зимние каникулы,—говорю я.—Так что ты сможешь все наверстать.

У Саши обнаружился еще один талант: он оказывается душою общества. Он ни минуты не молчит, и не потому, думается мне, что инстинктивно боится, как бы в молчании не родилось чувство неловкости, а совсем по другой причине: вот пришел в гости, надо, чтобы всем было весело. И он рассказывает подряд все школьные новости, потом напоминает Диме, как сестра выгоняла его из палаты, потом спрашивает о судьбе мальчика из диминой палаты, которому должны были оперировать какую-то опухоль на голове.

Дима отвечал тихо, с видимым усилием. Я старалась сократить визит, но он несколько раз удерживал:

— Нет, не уходите еще... еще немножко посидите!

Наконец я решительно поднялась и выразительно посмотрела на ребят. Они тоже встали.

— Приходите еще,—попросил Дима.—Привет всем передайте... Марина Николаевна, может быть, вы возьмете мои тетради, в которых я в больнице делал уроки? Они ведь не проверены...

Я захватила тетрадки, и мы распрощались.

Дома я посмотрела эти тетради—по русскому языку и арифметике—и еще раз подивилась: все было выполнено с величайшей старательностью—и упражнения по грамматике, и задачи, и примеры.

Выздоровление Димы совпало с горячими днями: кончалась вторая четверть, то и дело проводились контрольные работы, и, кроме того, все готовились к каникулам, к Новому году, к елке. И такое было чудесное, радостное настроение! Бывают такие удачные дни, когда все неприятности и огорчения позади, а новых, кажется, вовсе никогда не будет... Во всяком случае, не обязательно думать о них заранее. Попржнему каждые три—четыре дня кто-нибудь навещал Диму, и однажды Левин сказал мне:

— А он ничего, Кирсанов, совсем даже не задается. Просто у него характер такой, да? Странный характер, верно, Марина Николаевна?

Я не была уверена, что определение Бори такое уж точное и исчерпывающее, но меня очень порадовало, что даже он, больше всех не любивший и прямо-таки начисто отрицавший Диму, в конце концов понял: характер у всякого свой, у иного понятный и легкий, а у другого потруднее, и в первых, внешних его проявлениях, в непривычной или даже неприятной манере вести себя еще не весь человек.

Накануне Нового года я опять заглянула к Диме. Он уже мог ходить по комнате и снова сидел за уроками.

— Даже слишком много сидит, по-моему, — пожаловалась мне еще в передней Евгения Викторовна. — А я, знаете, беспокоюсь, не повредит ли ему — по столько часов все над тетрадками...

Он поднялся мне навстречу, и я подумала, что в его взгляде, в выражении лица уже нет такой замкнутости и вежливой отчужденности, как прежде. Весь его облик стал мягче, добрее, словно что-то растаяло в нем, хрустнул внутри какой-то ледок...

— Как ты себя чувствуешь, Дима?

— Хорошо, спасибо. Только очень надоело сидеть дома. Я соскучился.

— По школе?

— По школе, по ребятам...

— Ну вот, после каникул со всеми увидишься. Тебя в классе ждут.

— Ждут? — переспросил он и вдруг улыбнулся незнакомой мне, смущенной и довольной улыбкой.

И, неожиданно для себя, встретив эту улыбку и радостный, хотя и неуверенный взгляд, я вдруг раздумала напоминать ему, как собиралась «в воспитательных целях», о давнишнем нашем разговоре насчет единственного друга.

А одиннадцатого января Дима впервые после болезни пришел в школу. В это утро я вошла в класс до звонка и невольно остановилась в дверях. Никогда я не видела Диму в центре такой толпы, среди столькох веселых, доброжелательных лиц.

— Не тормозите его, — сказала я. — Он после операции, с ним надо обращаться осторожно. А теперь садитесь. У меня есть для вас новогодний подарок.

— Что? Что? Какой подарок? — закричали со всех сторон.

- Угадайте!
- Диктант из министерства?—с плутоватой улыбкой спросил Горюнов.
- Письмо!—воскликнул Левин.
- Правильно, письмо, вот, слушайте:

«Дорогие мои друзья!

Большое, большое вам спасибо за ваши письма и за приглашение приехать в Москву. Я надеюсь, что приеду к вам и вы мне покажете свою школу, свой класс и Москву. Мне хочется исходить ее вдоль и поперек и на все посмотреть своими глазами. Но больше всего мне хочется посмотреть на вас, на всех вместе и на каждого в отдельности. Напишите мне покорое, как чувствует себя Дима Кирсанов, я очень беспокоюсь за него...»

При этих словах все обернулись к Диме и посмотрели на него, а он удивленно раскрыл глаза и вдруг, вспомнив что-то, густо покраснел.

Я дочитала письмо Анатолия Александровича и начала урок. Мы повторяли глаголы. За пятнадцать минут до звонка я дала ребятам самостоятельную работу: придумать по три предложения с глаголами первого и второго спряжения, а сама стала ходить по рядам. Я тихо переходила от парты к парте, наклоняясь и заглядывая в тетрадки поверх прилежно сложенных голов.

«Я сегодня напишу (1-е спряжение) письмо на Север»,—прочитала я из-за плеча Димы Кирсанова. «Мы получили (2-е спряжение) письмо от нашего далекого друга»,—писал Гай. «Каникулы мы провели (1-е спряжение) очень весело»,—старательно выводил Молчанов. «В нашем зале до сих пор стоит (2-е спряжение) большая елка»,—совсем было благополучно дописывал младший Воробейко, но не удержался, посадил над последним «а» большую кляксу и тотчас испуганно покосился на меня. А я переходила от парты к парте и поверх ученических тетрадок, исписанных знакомыми детскими почерками, видела другие строки, чудесные, мудрые слова:

«Каждый человек, точно осколок стекла, отражает своим изломом души какую-нибудь маленькую частицу, не обнимая всего, но в каждом скрыт свой бубенчик, а если встряхнуть человека умело, он отвечает, хотя неуверенно, но приветливо».

Это сказал Горький, самый человечный человек и самый любимый мой писатель. И, как всякое его слово, это было сердечно, мудро и справедливо.

Валя Лавров

После зимних каникул в мой класс пришел учиться Валя Лавров. Он был светловолосый и синеглазый, с темной родинкой на щеке, оттенявшей пастельно-нежный румянец,—прямо как на каком-нибудь портрете восемнадцатого века! Он с первых дней поразил меня тем, что охотно и весьма самоуверенно рассуждал на любую тему. О чем он только не судил с необозримой высоты своих одиннадцати лет! Однажды, развернув принесенную из дому газету, он сказал Леве:

— А Маршак переводит совсем недурно!

— Я бы даже сказал, что он это делает очень хорошо,—не без юмора возразил Лева.

И Валя снисходительно согласился:

— Да, пожалуй...

Ребята с уважением прислушивались к этому взрослому, умному разговору. И, хотя это было жестоко с моей стороны, я все-таки спросила:

— А много переводов Маршака ты знаешь?

Пауза—паузе рознь. Эта была такой длинной, что не могла не скомпрометировать Ваю, и его фарфоровые щеки залились густой и жаркой краской.

Все засмеялись. Мне очень хотелось сказать о том, что ничего не следует повторять с чужих слов, когда не знаешь сам, о чем речь, но я удержалась: не стоило пригвоздить бедного Ваю к позорному столбу, и так все было ясно.

Еще один случай подорвал ваину репутацию.

В день дежурства ему пришлось подмести класс. Плачевное это было зрелище! Ребята столпились в дверях и с любопытством смотрели: Валя взял щетку неумело, осторожно, даже с опаской, словно это была не щетка, а бритва, и стал мести прямо себе на ноги.

— Что это ты так подметаешь?—не выдержал Лабутин.

Валя попытался ответить что-то в том духе, что он не девочка и домашнее хозяйство—не его специальность, но подобное рассуждения в нашем классе давно уже вышли из моды.

— Одно слово—руки-крюки,—оборвал Савенков.

Я уже говорила: он о многом судил с чужих слов и с удивительным апломбом. Он так и сыпал где-то подхваченными и запомнившимися ему формулами, вроде: «Теннис—благородный спорт»—или: «Маршак переводит недурно». В его устах такие изречения всегда бывали очень смешны—это чувствовали не только взрослые, но и дети.

Никакие мои отповеди и замечания («Не повторяй чужих слов», «Зачем ты говоришь о том, чего не понимаешь!») не действовали бы так, как отношение к этой валиной слабости самих ребят. Они умели и пошутить и смолчать, иной раз умели и резко оборвать, наглядно показать Вале, как смешна его манера судить о том, о чем он подчас понятия не имел.

— В сущности, «Спартак» играет довольно серо,—сказал он однажды на свою беду.

И досталось же ему! На него дружно напустились и болельщики «Спартака» и болельщики «Динамо». Ему в два счета доказали, что в футболе он ничего не смыслит, не умеет отличать защиту от полузащиты, не знает игроков «Спартака», и вообще не знает состава команд, и даже не знает, кто такой Хомич. Словом, в чем только не был уличен злополучный Валя! После этого случая он мог убедиться, что его пышные фразы перестали производить какое бы то ни было впечатление. И, однако, те же самые ребята с неподдельным интересом и уважением прислушиваются к тому, что говорят Горюнов, Рябинин, Гай, хотя они—даже Дима с его вполне литературной, но простой и сдержанной речью—никогда не блистали столь звонкими афоризмами.

Но, странное дело, наряду с самоуверенными манерами в этом мальчишке жило глубокое недоверие к себе, к своим силам и способностям. Отвечая урок по географии, Валя вдруг остановившись и беспомощно говорил:

— Дальше я не помню, я забыл.

— Припомни, подумай.

— Нет, я все равно не вспомню. У меня плохая память,—уверял Валя чуть не со слезами в голосе.

— Но ведь ты запомнил первую половину урока?

— А дальше забыл. Нет, я не вспомню, я знаю, что не вспомню.

Ясно было, что в такие минуты зеленая, коричневая и синяя краски на карте сливаются для него в сплошное, ничего не значащее пятно и он, пожалуй, вправду не отличит Черное море от Каспийского. Тут бы мне одной никогда с ним не справиться, не приди мне на помощь все учителя.

Вот идет урок арифметики. Лидия Игнатьевна проходит по рядам. Мальчишки склонились над тетрадями, все напряженно работают. Сначала и Валя, как все, погружен в задачу. Но вот он отодвигает тетрадку и начинает чертить что-то на промокашке. Лидия Игнатьевна подходит к нему.

— Почему ты не работаешь?—тихо спрашивает она.

— У меня ничего не выходит,— следует мрачный ответ.

— Не может быть. Должно выйти. Подумай еще.

— Все равно не выходит, я уже пробовал.

Лидия Игнатьевна берет в руки тетрадку.

— Начал ты верно,— говорит она.— Только проверь вычисления вот здесь и здесь.

Валя снова углубляется в работу. Иногда он поглядывает на Лидию Игнатьевну, и она кивает в ответ или снова подходит к нему, но всегда добивается, чтобы Валя непременно решил задачу сам.

Я люблю бывать на уроках Лидии Игнатьевны. Наблюдать за тем, как она работает, интересно и поучительно. Она знакома с ребятами первый год, но для меня несомненно, что она действительно знает их. С каждым она говорит именно так, как он заслуживает. Она часто приходит на помощь Савенкову и Лаврову, но никогда не пытается помочь Левину или Горюнову, даже если они сказываются в затруднительном положении. Она коротко, сдержанно хвалит Морозова и гораздо охотнее и многословнее— Воробейко или Румянцева. После каждой сколько-нибудь сложной задачи она спрашивает: «Кто решил иначе? Как можно решить другим способом? А какой способ решения разумнее?» И тут нельзя просто сказать неудачу, этот или тот,— потому что сразу последует: «Докажи, почему». На ее уроках невозможно оставаться безучастным зрителем. Я ловлю себя на том, что не только слушаю и смотрю,— я сама решаю задачу, ищу другой способ решения и стараюсь сообразить, чем он лучше первого. Каждый, кто сидит в классе у Лидии Игнатьевны, должен думать и иметь свое мнение, и каждый готов к тому, что его сию минуту спросят.

Может быть, самое трудное в работе педагога— то, что Макаренко определял словами «проектировать хорошее в человеке»: угадывать в нем силу, умение, талант и помогать им проявиться и окрепнуть, поддерживать первые ростки хорошего и заставить человека самого поверить в них. Именно это и делает Лидия Игнатьевна. Я далеко не уверена, что Валя справится с задачей, а сам он верит в это еще меньше. А вот Лидия Игнатьевна не сомневается: Валя решит задачу. И он в самом деле решает! С самого начала он хуже успевал по арифметике, и, однако, именно по этому предмету он раньше всего догнал класс. Все чаще от него можно услышать полуудивленное, но торжествующее:

— Вышло! Сошлось с ответом!

И всегда Лидия Игнатьевна невозмутимо отвечала:

— Ну, конечно, вышло, а как же иначе?

Так все мы старались поддерживать в мальчике нарождающуюся веру в свои силы и в то же время укрощать излишнюю самоуверенность. Это очень не легко, и не всегда понятно было, как именно поступить. Что сказать ему, чтобы подействовало наверняка и в то же время не нарушило едва достигнутое хрупкое равновесие?

С Валею было трудно. В этом мальчике удивительным образом сочетались самые противоречивые свойства. И я старалась как можно внимательнее приглядываться к нему, ничего не упуская.

— Марина Николаевна,— сказал он мне однажды,— ко мне ребята пристают.

— Какие ребята? Наши?

— Нет, из пятого «А». И вообще многие.

— Как же они пристают?

— Толкаются. По голове щелкают...— он замялся было, но потом чистосердечно признался (такого признания не сделал бы мне никто другой в классе):— Я один раз даже заплакал. Вот вы посмотрите на переменке, мне прямо проходу не дают.

«Милый друг,— подумала я,— посоветовался бы ты с Левиным, он бы тебе сказал, что нужно делать в таких случаях!»

Но вслух я сказала:

— Хорошо, я поговорю с ребятами.

В самом деле, стоило Вале пройти по коридору, как из соседнего класса с воплем: «Лавров идет!»—выскочили двое ребят, загородили ему дорогу, и тот, что был повыше, привычно нацелился щелкнуть его по макушке. Валя втянул голову в плечи и беспомощно оглянулся. Я подошла и резко сказала ребятам, чтобы они больше не смели его трогать.

— Почему ребята из пятого «А» задирают Лаврова?—спросила я Левина.— Они поссорились?

— Да нет, они не поссорились. Но знаете, Марина Николаевна, Лавров верещит, верещит, просто смешно. Они не колотят его, только щелкают. И чего он на них смотрит, не понимаю.

«Не сомневаюсь, что ты не стал бы на них смотреть»,— подумала я, выслушав это исчерпывающее объяснение.

Дня три прошло спокойно, а потом Валя подошел ко мне и сообщил, что Андреев и Петухов из пятого «А» стали привязываться к нему на улице.

— Если видят, что я иду один, без наших, сразу начинают приставать и бегут за мной до самой школы. А как увидят

кого-нибудь из наших—Рябинина или Воробейко,—сразу отстанут,—подробно докладывал он.

Не могла же я сказать ему: «Дай сдачи»,—а как раз это мне и хотелось посоветовать. Подумав, я сказала дипломатически:

— А ты не позволяй обижать себя...

— Хорошо, я буду ходить из школы вместе с Воробейко.

— А если Воробейко заболел и не придет в школу? Ты попробуй сам защитить себя.

— Попробую,—сказал он со вздохом, и я почувствовала, что ему далеко не ясно, как это он может попробовать.

Я могла обратиться к классной руководительнице пятого «А», и она, конечно, вразумила бы своих ребят. Да я и сама могла бы их приструнить. Я сделала бы это, носи их приставания хулиганский, злобный характер. Но тут было другое: просто Вадю весело было задирать, забавляла его нелепая, какая-то преувеличенная беспомощность. И ведь могут появиться новые любители щелчков и толчков; если Валя станет покорно принимать их или прятаться за спины товарищей, толку не будет.

Прошло еще несколько дней.

— Ну, как, Валя?—спросила я с некоторым беспокойством.—Андреев и Петухов все еще пристают к тебе?

— Нет, больше не пристают. Знаете, Марина Николаевна, они ко мне опять полезли, а я им как дал, они и отстали.

Он сказал это с гордостью, тоном человека, который никому больше не позволит щелкать себя по макушке. Странное положение было у меня в эту минуту. Что сказать? Не хвалить же Вадю за то, что он «дал» обидчикам?

Валя был из тех, кого справедливо называют растяпами, и, конечно, Савенков очень метко определил его: «Руки-крюки». Но меня подкупало, что он умел не обижаться на товарищей, когда они смеялись над его никчемностью, над неумением бегать, прыгать, над тем, что он не мог даже толком подмести класс или очинить карандаш. Мне нравилось, что он полюбил школу, привязался к товарищам еще в то время, когда к нему относились с некоторым пренебрежением: он сумел почувствовать, что заслужил это. Все реже он произносил громкие, трескучие фразы, и не потому, что боялся насмешек, а потому, что понял: они неуместны, нелепы—и старался говорить проще. Он явно хотел и старался завоевать уважение одноклассников, но в этих попытках не было заискивания: просто он стремился стать наравне со всеми, равноправным и полезным участником всего, что делалось в классе. Надо отдать справед-

ливость и ребятам—они сумели оценить это. Они относились к Вале все мягче, посмеивались над ним все беззлобнее, и все чаще слышалось: «Давай я покажу тебе», «Гляди, как нужно делать», «Не так, не так! Эх, ты, чучело, руки-крюки! Вот, видишь, как? А теперь сам попробуй». Может быть, методически это звучало не идеально, но приносило прямую и несомненную пользу.

— Знаете, Лева, мне очень хочется записаться к вам в кружок,—сказал однажды Валя.

— За чем же дело стало? Запишись.

— Но ведь я ничего не умею.

— Вот и научись. Видел бы ты, как Левин или Лабутин начинали работать в кружке! Тоже ничего не умели. Сколько Левин добра перепортил—беда! А Григорьев такую кособокую полку для книг сделал, что на нее приходили любоваться из всех классов: книги на ней нипочем не стояли, все время валялись в сторону.

— А Гай много умел?

— Много умел один Рябинин. А остальные ничего не умели, в точности, как ты.

Валя пришел на занятия кружка. Лева для начала поручил ему самую легкую и простую работу: сделать книжку-самоделку для нашей классной библиотеки. Надо было вырезать из «Пионерской правды» печатавшуюся тогда повесть и наклеивать вырезки подряд на сшитые вместе большие листы плотной бумаги. Все с начала до конца Валя проделал сам—и вырезал, и сшил, и склеил, вымазавшись при этом вплоть до ушей и кончика носа. Книжка получилась не то, чтобы идеально аккуратная, но крепкая. Величайшее усердие переплетчика чувствовалось во всем. Кружковцы так и оценили первое валяно творение:

— Красоты еще нехватает, зато сто лет проживет.

Новые друзья

Еще в январе мы снова получили письмо от Анатолия Александровича:

«Дорогие мои друзья!—писал он.—Скоро думаю подать рапорт командиру корабля. Не знаю, какой будет ответ, но надеюсь, что он не откажет мне. Если будет «добро» (разрешение на отпуск), я напишу вам, а при выезде из Мурманска дам телеграмму, хорошо?»

Еще бы не хорошо! Мы знали, что приехать он сможет не раньше мая, но ждать начали в январе. В конце февраля мы стояли у окна в коридоре и рассуждали о том, как в воскресенье пойдем на лыжах. И вдруг откуда-то донесся вопль:

— Телеграмма! Нам телеграмма!

По коридору мчались братья Воробейко, оба красные и встре-паннанные. Саша подбежал первым и, с трудом переводя дыхание, подал мне телеграмму. Она была адресована нам, — в ней стояло:

«Приеду с Ленинградского вокзала, встречайте. Нехода».

Поднялась невообразимая суматоха. Хотя ребята и знали, что Анатолий Александрович приедет, и готовились к этой встрече, но никак не предполагали, что это случится так скоро. Мне стоило большого труда водворить хотя бы относительное спокойствие в классе.

Было решено: на вокзал ребята пойдут строем.

— Мы его не узнаем, так он нас сразу узнает! — лицемерно заявляли они: в глубине души каждый рассчитывал, что немедленно узнает Неходу.

К приходу поезда мальчики выстроились на платформе. Они были торжественные, подтянутые, как на смотре, и задние пары то и дело нетерпеливо вытягивали шеи, стараясь пораньше увидеть, не идет ли поезд.

Как хорошо, как весело встречать! Пыхтя и грохоча, долгожданный поезд подкатывает к своей асфальтовой пристани, и мы слевой едва успеваем удержать ребят, готовых сорваться с места. Номер вагона нам неизвестен, остается ждать. Сколько выходит военных — и танкистов, и артиллеристов, и летчиков, — но мы ждем моряка. А моряка нет. Где же он? Ребята переминаются с ноги на ногу и жадными глазами впиваются в лица проходящих. Вот идет группа моряков, они весело смотрят на нас, но проходят мимо, не задерживаясь. Не то!

Только когда платформа почти опустела, в конце ее показался высокий, широкоплечий человек в морской форме. В обеих руках он нес по чемодану. Увидев нас издали, он поставил один чемодан и помахал рукой. Не дожидаясь ни команды, ни разрешения Левы, ребята ринулись к нему.

Анатолий Александрович пожимал тянувшиеся со всех сторон руки, обнимал и встряхивал за плечи тех, кто стоял поближе, смеясь, заглядывал в покрасневшиеся, сияющие лица. Божь, что от шумных приветствий у него быстро зазеленело в ушах, но он так же широко, добродушно улыбался всем подряд, как старший брат, вернувшийся в семью, где его зажда-

лись малыши и где так уж повелось, что чем дальше отлучка, тем шумнее и радостнее встреча. Наконец он сказал:

— Подождите-ка, сейчас мы разгрузим один чемодан, а то он тяжеловат...

Щелкнул замок, откинулась крышка, и тут же, на перроне, каждому вручен был подарок. Чего только не было в этом чемодане! Рисунки—картины северной природы,—гильзы от патронов, планшетки, ручки из моржовой кости... Никто не был забыт. Мы слевой получили по костяному ножу с тюленем на рукоятке. Каждый подарок встречался дружным, восторженным воплем. Чемодан опустел, и несказанно гордый Саша Воробейко потащил его, старательно шагая в ногу с Анатолием Александровичем, которому он был, как-никак, почти до подбородка.

Мы проводили Анатолия Александровича до гостиницы и простились с ним, но не надолго: потом мы снова встретились у школы. Он вошел в класс, не ожидая наших объяснений, стал рассматривать газету, журнал, заглянув в шкаф с самоделками. Этот «инспекторский осмотр» он сопровождал веселыми, короткими замечаниями:

— Полочка хороша. А вот ящик малость кособокий. Это чья же работа? Вот оно что, вы и выпиливать умеете, ну, молодцы... А моделей мало почему?

Потом ребята сдвинули парты, уселись поближе к Анатолию Александровичу, и он сказал нам удивительную вещь:

— Вы, верно, думаете: как это я так быстро приехал? Это я не в отпуск, а в командировку. Да кроме того есть у меня еще одно очень важное дело. Недавно нашего командира Григория Алексеевича Синицына известили, что его сынишка нашелся под Москвой, в детском доме. Сынишка у него пропал во время войны, никаких следов не было. Капитану сейчас выехать невозможно, вот он и попросил меня попутно съездить в Болшевский детский дом. Понимаете, ребята, он все годы разыскивал мальчишку, всякую надежду потерял, и вот, пожалуйста, находится в Болшевском детском доме, можете получить!

Тут вопросы посыпались градом, и Анатолию Александровичу пришлось рассказать все подробно: отец мальчика был на фронте, мать погибла во время бомбежки, остался двухлетний малыш, который умел сказать о себе только, что его зовут Вова Синицын, а маму—Марусей. Кроме того в кармане пальто у него нашли карточку, на которой он был снят, очевидно, с родителями,—это и было его единственным до-

кументом. Заведующая детским домом, где отыскался теперь Вова Синицын, писала командиру Анатолия Александровича:

«Уважаемый тов. Синицын! Все признаки сходятся. Мальчика действительно нашли под Псковом в 1942 году. Он сказал, что его зовут Вовой, а мать — Марией. Карточку, на которой сфотографирован Вова с родителями (мальчик на коленях у отца, мать слева, в белой блузке с галстуком, отец в темном костюме), я прислать вам не могу, так как это единственный воин документ. Если она затеряется на почте, у него не останется ничего, что могло бы удостоверить его личность. Лучше приезжайте сами. У мальчика голубые глаза и светлые волосы, над губой с левой стороны темное пятнышко. Посылаю вам его теперешнюю фотографию, но вряд ли вы сможете узнать в восьмилетнем мальчике своего двухлетнего сына. Ждем вашего приезда.

Л. Залеская»

Письмо переходило из рук в руки. Потом Анатолий Александрович вынул из бумажника карточку, на которой были изображены улыбающийся мужчина, держащий на коленях толстого, глазастого малыша, и молодая женщина в белой блузке с галстуком.

— Значит, заведующая все-таки послала карточку? — спросил Левин.

— Нет, у Григория Алексеевича сохранилась такая же. Он дал мне ее с собой. Но вообще-то особой надобности в этом нет: я и так пойму, он ли снят на той фотографии, что хранится в детском доме.

— Знаете что, — нерешительно начал Горюнов, — вы когда туда поедете?

— Завтра.

— Возьмите нас с собой! — воскликнули сразу несколько человек.

Анатолий Александрович вопросительно посмотрел на меня.

— Марина Николаевна согласна! — хором закричали мальчики, прежде чем я успела вымолвить хоть слово.

Когда мы в Болшеве сошли с поезда, я с Димой Кирсановым, Кирой Глазковым и Костей Орловым остались дожидаться «кукушки»: Диме после операции еще нельзя было ходить на лыжах, у Киры лыж не было, а Костя умудрился сломать свои по дороге и теперь был мрачнее тучи. Остальные вместе с Анатолием Александровичем, распрощив о дороге, на лыжах двинулись вперед.

— Я все думаю: а что, если этот мальчик не настоящий Вова Синицын?—озабоченно сказал Дима.

— Он все равно настоящий,—резонно возразил Кира.

Но Диму, видимо, занимала какая-то своя мысль. Всю дорогу он молчал и с нетерпением поглядывал в окно: скоро ли доедем?

«Кукушка» быстро доставила нас на станцию. Мы вышли из вагона и, никого не спрашивая, прямой широкой дорогой пересекли поле, потом белый и тихий лесок, до пояса утонувший в пухлых сугробах после вчерашнего снегопада. Но вот между стволами стали видны колонны, беседки и большая белая дача, обнесенная высокой узорной решеткой. Оттуда слышались звонкие голоса, смех. Конечно, это и был детский дом. Но мы не пошли к воротам: надо было подождать наших.

Часа через полтора за деревьями замелькали знакомые фигуры, покрасневшие физиономии и послышались голоса, которые могли принадлежать только Левину и Воробейко. Эти двое не знали полутонов; даже когда они разговаривали со мной с глазу на глаз, я не могла отделаться от ощущения, что они рассчитывают на аудиторию по меньшей мере в полсотню человек.

Наши пятнадцать лыжников шли гуськом, соблюдая дистанцию в два-три метра. Это была внушительная процессия. Впереди шел Анатолий Александрович, замыкающим, как всегда, был Леша Рябинин. Мы помахали им, и они подкатили к нам— все румяные, разгоряченные, веселые, с блестящими глазами.

— Ну, вот что,—говорит Анатолий Александрович.—Всех нас в детдом, наверное, не пустят: разная там инфекция и все такое. Поэтому подождите немного за оградой; я войду и, как только все выясню, вернусь к вам.

Мы остановились поодаль, а Анатолий Александрович пошел к калитке.

Сквозь решетку мы видели, как он подошел к крыльцу, позвонил, как ему открыли, и дверь снова захлопнулась за ним. Ребят охватывает настоящая лихорадка. Я не могу отвлечь их ни расспросами о том, как они дошли сюда, ни рассказами о том, как доехали мы на «кукушке» и как в лесу лепили из снега лыжника. Им не до того. Они нетерпеливо ждут, не спуская глаз с дверей детдома. Всем очень хочется, чтобы за этими дверями оказался «настоящий» Вова Синицын, тот самый, которого Анатолий Александрович должен отвезти на Север к отцу.

Это были очень долгие двадцать минут. Наконец дверь снова отворилась и появились Анатолий Александрович и высокая немолодая женщина в пальто, накинутом на плечи. Они идут, не спеша разговаривают о чем-то и даже не смотрят в нашу сторону. Румянцев и Воробейко кидаются к воротам, за ними остальные.

— Анатолий Александрович! Ну, что? Как? Он или не он?

Нехода остановился и поднял обе руки: в каждой было по карточке—два одинаковых снимка, только один сильнее выцвел и пожелтел.

— Ур-ра!—закричал Гай, и все дружно подхватили.

Взлетели вверх шапки, поднялся невообразимый шум; впрочем, он быстро сменился сконфуженным молчанием, потому что женщина сказала с легким укором: «Здравствуйте, дети». Тут мы сообразили, что на радостях забыли поздороваться, искренне забыли обо всем, кроме того, что Вова Синицын оказался действительно тем самым настоящим и, значит, теперь поедет с Анатолием Александровичем к отцу.

Я извинилась за себя и за мальчиков, Анатолий Александрович представил нас заведующей детским домом Людмиле Ивановне Залесской. А к окнам белой дачи уже прилипли чьи-то лица и ладони, расплущились чьи-то любопытные носы.

— Пойдемте,— сказала Людмила Ивановна,— я напою вас чаем, согреетесь.

— А как же инфекция? — спросил Лабутин.

Людмила Ивановна внимательно посмотрела на него и на его сумку с красным крестом.

— Ничего не поделаешь, не морозить же вас тут. Я покажу вам Вову,— добавила Людмила Ивановна, ведя нас в дом.— Но вы ему пока ничего не говорите, не будоражьте его. Мы с ним позже потолкуем.

Мальчики вытерли лыжи, оставили их в сенях, разделись, сложили на широкой скамье в передней верхнюю одежду и, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь помять или сдвинуть, вошли в просторную, светлую комнату.

Посреди комнаты стоял на стуле лобастый белобровый мальчуган лет пяти и самозабвенно кричал:

— Скорей! Скорей! Стихи придумал! Скорей, а то забуду!

Вокруг него толпились детишки, некоторые еще меньше его — самым старшим было лет по десять — двенадцать. Лобастый открыл рот, как видно, собираясь обнародовать свое произведение, но увидел нас, соскочил со стула и кинулся на-

встречу. Нас окружили. В одну минуту мои ребята перемешались с хозяевами.

— Какие же стихи ты придумал?—спросила я малыша.

Он не заставил себя просить и, поднимая белые брови, тараща глаза и забавно округляя рот, продекламировал свои стихи: они, как и их автор, были совершенно чужды какой бы то ни было меланхолии:

Мы зимой с горки катались!
Нам было весело, и мы смеялись!
Машина по дороге едет
И огнями светит!
Нам светло!
И весело!
Медведь по лесу идет!
Шишки несет!
Песни поет!

Ребята громко захлопали поэту, но он, не успев перевести дух, сразу закричал:

— А теперь отгадайте, что такое: не мальчик, а зовут Мишкой, ходит по лесу и ветки ломает?

— Подумаешь, загадка!—прозаически говорит Григорьев.— Ясно, медведь.

Мальчишка даже обиделся.

— Дурак!—шипит Григорьеву Рябинин и просит:

— Ну-ка, загадай еще.

В ответ раздался целый хор голосов: как видно, у каждого есть в запасе ворох загадок.

Они еще не знают, кто мы и откуда, но между нами уже есть главное: симпатия, доверие, понимание. Когда в комнату снова входит Людмила Ивановна, все мы чувствуем себя старыми знакомыми. Нам только очень хочется узнать ответ еще на одну загадку: который Вова Синицын?

— Знакомьтесь, — говорит Людмила Ивановна. — Вот это Егор Вареничев, это Валя Смирнова, это Вова Синицын, это Павлик Волков, это...

Она называет всех детей подряд, но мы уже смотрим только на голубоглазого крепыша, который, в свою очередь, внимательно разглядывает нас.

— Правильно!—жарким шопотом сообщает мне Воробейко. — Над губой пятнышко, видите? Я бы его сразу узнал: он совсем такой, как на карточке.

До чего же любопытно видеть моих ребят в этой новой обстановке! Толя Горюнов смущенно поглядывает на крохотную

девочку, которая ходит за ним по пятам и время от времени окликает его:

— Мальчик, а мальчик!

— Чего тебе? — решается он наконец.

— А я умею писать букву «у»!

Толя растерян; он не знает, что полагается отвечать в подобных случаях. Зато Сережа Молчанов, который растет среди множества братьев и сестер, Лабутин и Савенков, у которых дома младшие сестренки, Леша, который сам растит своих братьев, и еще многие чувствуют себя с малышами превосходно. Дима, Саша Гай, оба Воробейко и Боря Левин не спускают глаз с Вовы. Они придвигаются к нему, и я слышу, как завязывается разговор:

Дима. Тебе тут хорошо?

Вова. Хорошо.

Боря. А если придется уехать?

Вова (недоумевающе). А зачем мне уезжать?

К нам подходит Анатолий Александрович, садится на скамью, притягивает к себе Вову. Мальчуган немного удивлен, но держится попрежнему просто и непринужденно.

— Вы к нам жить? — спрашивает он Анатолия Александровича.

— Нет, я просто приехал в гости. Сначала вот к ним, а потом вместе с ними сюда, к вам.

— А вам у нас нравится?

...Потом мы пьем чай. Гостей гораздо меньше, чем хозяев, а каждый детдомовский малыш непременно хочет сидеть рядом с кем-нибудь из нас. После некоторой неразберихи мы все же рассаживаемся, разворачиваем свои бутерброды; кроме чая перед каждым дымится на тарелке горячая картошка, и это очень кстати: все мы — и лыжники и нелыжники — нагуляли отличный аппетит.

Дав ребятам немного отдохнуть после еды, мы с Анатолием Александровичем начинаем торопить их домой. За окнами уже сгущается синева сумерек. Пора прощаться. Ребята нехотя одеваются, разбирают лыжи.

— Прощайте, до свиданья, приходите еще! — несется нам вслед.

И снова лес, поле, полутемный вагончик «кукушки», пересадка в Болшеве... За окном смутно мелькают высокие силуэты сосен, усыпаящие стучат колеса... Ребята притихли. Мне кажется, что и у них, как у меня, неясное, сложное чувство, как будто только что у нас на глазах повернулась человече-

ская судьба — судьба не одного мальчика Вовы, но и незнакомого капитана Григория Алексеевича Синицына. Теперь они будут жить вместе.

— Прямо, как в книге, — вздыхая, говорит Борис.

— Анатолий Александрович, — вдруг спрашивает Дима, — а если бы этот Вова Синицын оказался не тем, не сыном вашего командира?

— Мне Григорий Алексеевич сказал: «Все равно привози, будет сыном».

«Чужой», «незнакомый» — эти слова, в сущности, давно уже были неприменимы к Анатолию Александровичу. Но какой бы теплой и дружеской ни была переписка с ним, заменить личного общения, личной дружбы она не могла. Для всех как-то сразу стали привычными и наизусть знакомыми его неторопливая и уверенная походка, смеющиеся светлые глаза под выгоревшими бровями, быстрая, широкая, очень добрая улыбка и даже то, что молодое лицо Неходы было чуть тронуту оспой, а на лбу, у глаз и рта на красноватой обветренной коже четко прорезались светлые морщинки.

Нехода каждый день бывал у нас в школе, гулял с нами по Москве, пошел с нами в детский театр. Он много рассказывал о Севере, о своих товарищах по кораблю, о капитане Синицыне. Оказалось, что на корабле знают о нас, знает и командир. Он даже сказал Неходе:

— Ты познакомь моего малыша со своими приятелями. И передай им от меня привет.

Анатолий Александрович пробыл в Москве всего неделю. В следующее воскресенье он уехал и увез мальчика. Мы провожали их, и хоть провожать всегда грустно, на этот раз мы были веселы, потому что надеялись на скорую встречу. Ведь отпуск у Неходы еще впереди!

После отъезда Вовы Синицына наше знакомство с воспитанниками детского дома не прекратилось. В одно из ближайших воскресений туда поехали слевой те, кто не был с нами в первый раз. Их приняли так же приветливо, и они вернулись, полные впечатлений.

— Заведующая нас приглашала: «Приезжайте почаще, мы вам очень рады!» — рассказывал Лавров. — А малыши просто повисли на нас и даже не хотели отпускать!

Еще через две недели группа ребят поехала в детдом с подарками — повезли кое-какие книжки и цветные карандаши. Понемногу связь с болшевыми становилась все прочнее. Мальчики постоянно вспоминали новых знакомых.

— Егор в прошлый раз спросил меня: «Был ли у Гитлера хвост?» — под общий смех сообщает Лабутин.

— Валя сидит, рисует. Я ее спрашиваю: «Почему это у тебя целых три солнца?» А она отвечает: «Чтоб теплее было!» — рассказывает Лавров.

Всего в детдоме было пятьдесят ребят, младшему три года, старшему двенадцать. Мы всех их знали по именам. Одних доставили на самолетах с Украины, из Белоруссии, других подобрали на смоленских дорогах; одну девочку наши полузамерзшей в лесу, другую привезли сюда из московского эвакуопункта. Не все могли рассказать, что с ними произошло. Пятилетний Лева Зотов сказал только несколько слов, простых и страшных:

— Мы с мамой бежали, бежали, потом мама споткнулась и упала. И заснула. Я ее будил-будил, никак не мог разбудить. Так она и не встала.

Таю, Витю и Вову Любимовых за час до отъезда на фронт привез отец и не вернулся больше...

Ни дети, ни воспитатели не любят говорить о том, что было: слишком это тяжело и горько. Но не одна я, все мои мальчишки, и не спрашивая, понимали, сколько этим малышам отдано было любви и тепла, потому что ничем иным работники детдома не могли бы по-настоящему вернуть жизнь детям, на глазах у которых немцы убили отца, повесили мать, сожгли родную деревню.

Все колхозы района считают этот дом своим подшефным и снабжают его всем, что нужно детям. Прирожденный хозяин Леша Рябинин особенно интересовался практической стороной дела. Вернувшись из Болшева, он докладывал:

— Марина Николаевна, на той неделе председатель колхоза «Заря социализма» перевел в банк для детдома тридцать тысяч рублей — специально на жиры. А колхоз «Вперед» подарил им корову. А пианино у них, оказывается, — подарок райкома партии.

— И им еще прислали игрушки и краски, — подхватывает Валя. — И альбомы красивые. Это им каждый раз райисполком присылает.

Никакие лекции о советском отношении к людям, к детям не научили бы моих ребят тому, что они сами увидели и узнали здесь. Это было просто, понятно и убедительно. Я очень радовалась, что случай свел нас с этим детским домом и что он занимает все больше места в нашей общей

повседневной жизни. Мы были шефами. Мы были старшими друзьями. Нас знали, любили, нас всегда с нетерпением ждали в гости. Мои ребята стали для детдомовцев тем, чем для них самих был Анатолий Александрович. Они хорошо знали всех детишек, характеры, склонности, кто с кем дружит, кто с кем не ладит и почему. Они постоянно соображали, что придумать приятное для малышей, вспоминали, кто что сказал и сделал смешное или интересное, что с кем случилось.

У Н. К. Крупской есть чудесная беседа с пионерами об общественной работе.

Вмешивайтесь в жизнь!—говорила Надежда Константиновна. — Если вы видите, что кругом вас что-нибудь не так, — изменяйте это! Вы видите, что в соседнем детском саду ребятам скучно? Сделайте им игрушки! Вы видите, что в школе взрослых нехватает географических карт? Нарисуйте их. Вы видите, что в вашей школьной столовой грязно? Добейтесь, чтобы стало чисто! Вы не должны ни к чему быть равнодушными, все должно вас касаться.

Все это хорошо понимал Гайдар—один из самых любимых моих писателей, писатель, который, по глубокому моему убеждению, многому учит не только детей, но и взрослых. Его «Тимур» — не только прекрасное художественное произведение, это очень умная, педагогически глубокая книга. Ребятам нужно действие — благородное, по-настоящему полезное, им нужно сознательно и с толком приложить к чему-то свои силы. Нельзя, чтоб пионерская работа превращалась в цепь сборов, пусть даже очень интересных и увлекательных, — этого мало. Ребята должны что-то делать, видеть плоды своего труда. Пусть они почувствуют, что в меру своих сил приносят пользу окружающим. Ведь это и значит учиться коммунизму, связывать, как и требовал этого Ленин, воспитание с общим трудом рабочих и крестьян, со строительством нового общества.

Мои ребята помогали детдомовским малышам выпускать газету, каждый раз, приезжая, играли с ними, читали им вслух. Сделали во дворе отличную ледяную горку. Приехав как-то вместе с Левой, исправили давно молчавшее радио, перечинили все лыжи и санки. Каждое воскресенье в Болшево отправлялись пять-шесть человек. Заодно с шефскими делами они много гуляли и бегали на свежем воздухе, и каждая поездка была для них вместе с тем и праздничным отдыхом.

Так вот, стоило нам чуть раздвинуть рамки, шагнуть за дверь школы,— и сколько мы увидели нового, интересного! Оказалось, что надо смотреть, видеть, искать и находить все— и дело, и друзей,— сами они не приходят.

* * *

И вот я дошла до сегодняшнего дня. Вечер. Я сижу за своим письменным столом, на котором стопкой лежат тетради моих ребят, а лампа под зеленым абажуром отбрасывает яркий свет на страницы вот этой толстой тетради.

Уже весна, скоро экзамены. Много всего впереди — нового, хорошего, интересного. Но сейчас я опять оглядываюсь назад.

Мне очень хочется, чтоб Вася стал человеком ярким и самостоятельным. Мне очень хочется, чтобы Боря пореже приходил в класс в синяках и с разбитым носом. Мне очень хочется, чтоб Саша Воробейко поменьше думал о футболе и побольше о грамматике и географии. Мне очень хочется, чтобы Дима нашел друга, чтобы у Вали характер стал потверже, а у Лукарева — помягче. Мне хочется, чтобы все они стали настоящими людьми, людьми прямыми и верными, стойкими в час испытания, неутомимыми в труде и горячо любящими свою работу. Чтоб думали прежде всего о своем деле, о долге перед родной страной и народом, а потом уже о себе... Да, мне многого хочется. Но до этого еще далеко, очень далеко! Но как хорошо, как радостно хотеть этого, думать об этом, добиваться этого! Каждое их хорошее сочинение, каждая умно решенная задача — моя радость. Каждая их новая мысль — и моя мысль. И каждая их неудача — моя неудача.

Но что же, что дало мне это время? Что я поняла? Чем стала богаче? Что знаю твердо?

Обо всем сразу не скажешь, но об одном я не могу не сказать.

У Горького среди сказок об Италии есть одна—об отце и сыне, попавших в беду: на море их застала буря. Волны безжалостно кидали маленькую лодку во все стороны, а берег убегал все дальше и дальше. Перед лицом неминуемой смерти отец стал рассказывать юноше-сыну обо всем, чему научила его жизнь,— о работе, о людях... Рыбак, он прежде всего рассказал самое важное о своем ремесле, стараясь передать сыну все, что знал о привычках и повадках рыбы. Потом стал говорить о том, как надо жить с людьми.

Выл ветер, волны хлестали в лицо, и старику приходилось кричать, чтобы сын услышал его:

— Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего: думай, что хорошего больше в нем, так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них!

С тех пор сын прожил долгую жизнь, и вот уже глубоким стариком он с благодарностью вспомнил справедливые и мудрые слова отца.

Я тоже вспоминаю их.

Если любишь ребят, а они любят тебя и верят тебе,— все будет хорошо. Тогда ты преодолеешь самое трудное, найдешь путь к самому упорному сердцу,— и будешь счастлив.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Коля Савенков	3
Самое главное	10
Братья Воробейко	22
В гостях у Саши Гая	28
Переписка	33
Федя Лукарев	38
Дима Кирсанов	45
Валя Лавров	62
Новые друзья	67



Редактор — **А. СУРКОВ.**

А — 14513. Тираж 150 000. Подп. к печати 4/XI 1949 г. Заказ 2536.

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 1 руб.

30 января 1950 года
в гор. СТАЛИНО
СОСТОИТСЯ
13-й ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
3% ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА

В тираже на каждый разряд займа в один миллиард рублей будет разыграно 8.500 выигрышей на общую сумму 4.650.200 рублей, в том числе:

- 2 выигрыша по 50.000 рублей
- 5 выигрышей по 25.000 рублей
- 25 выигрышей по 10.000 рублей
- 80 выигрышей по 5.000 рублей
- 700 выигрышей по 1.000 рублей
- 7688 выигрышей по 400 рублей

В настоящее время по 31 декабря 1949 года включительно облигации 3% займа продаются с талоном № 3 и всеми последующими. Эти облигации будут участвовать в третьем дополнительном тираже, который состоится 30 сентября 1950 года, а также во всех основных тиражах, проводимых после приобретения облигаций. С 1 января 1950 года облигации 3% займа будут продаваться с талоном № 4 и всеми последующими.

**ОБЛИГАЦИИ 3% ЗАЙМА ПРОДАЮТСЯ
И СВОБОДНО ПОКУПАЮТСЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ**

ПРИБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 3% ЗАЙМА!

Главное Управление гострудсберкасс и госкредита.